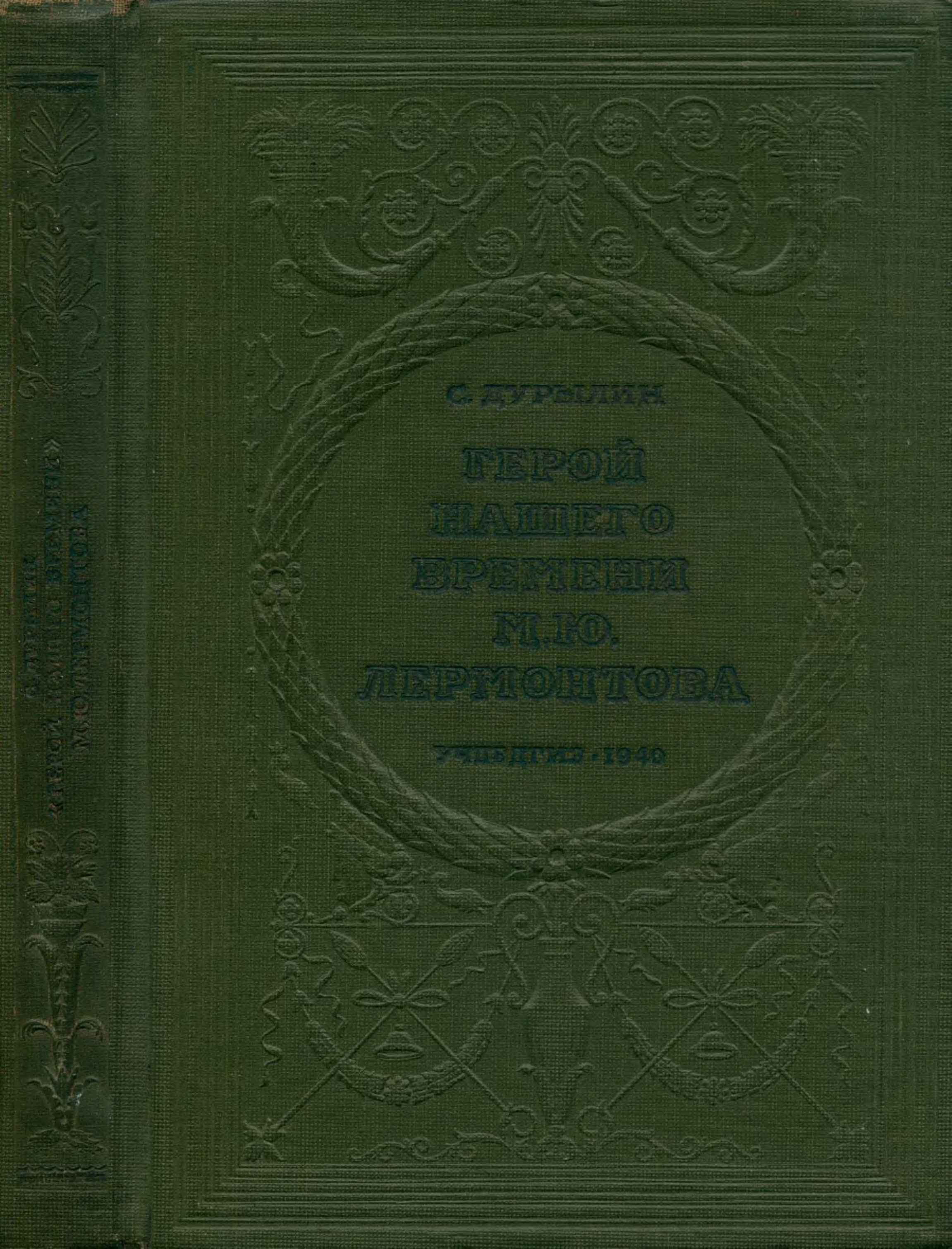

С. ДУРЫЛИН
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
УЧПЕДГИЗ · 1940
С. ДУРЫЛИН
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА


1814


1939



М. Ю. Лермонтов

(с акварели Горбунова, 1839)



С. ДУРЫЛИН

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРКОМПРОСА РСФСР
МОСКВА • 1940

ПОСОБИЕ
К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА

С. ДУРЫЛИН
„Герой нашего времени"
М. Ю. Лермонтова

* * *

Ответственный редактор *В. Кузьмина*
Технический редактор *М. Натапов*
Художник *Б. Никифоров*
Корректор *Л. Ильина*

* * *

Уполномоченный Главлита № А-12319.

* * *

Сдано в набор 27 мая 1939 г. Подписано к печати 5 февраля 1940 г. Индекс У-2. Учпедгиз 12161. Тираж 10 тыс. Печ. л. $16^1/_4$. Учетно-изд. л. 13,5. Формат бумаги $84 \times 108/_{32}$. Бум. л. $4^1/_8$. Заказ № 2419.

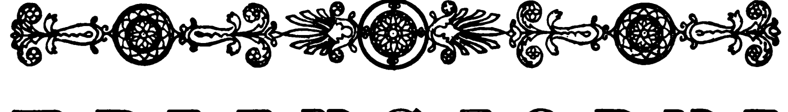
* * *

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига".
Москва, Валовая, 28.

Вот книга, которой суждено никогда не стариться, потому что при самом рождении ее она была вспрыснута живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет нова.

(В. Г. БЕЛИНСКИЙ.

„Герой нашего времени".)



ПРЕДИСЛОВИЕ

Величайшие художники русской литературы — Н. В. Гоголь, С. Т. Аксаков, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. М. Горький — единодушно признавали роман Лермонтова «Герой нашего времени» за образцовое произведение русской прозы.

Гоголь утверждал: «Никто еще не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою». («В чем же, наконец, существо русской поэзии?», 1846). В собственноручном списке книг, оказавших на него влияние, Л. Н. Толстой отмечает: «Лермонтов. Герой нашего времени. Тамань. Очень большое». «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова, — говорил Чехов, — я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения. Так бы и учился писать».

Подобную же исключительно высокую оценку «Герой нашего времени» встретил в русской критике. В. Г. Белинский считал «Героя нашего времени» вечным драгоценным достоянием русской литературы. В рецензии по поводу третьего издания романа (1843) великий критик писал:

«Перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, как все в нем просто, легко, обыкновенно, и в то же время так проникнуто мыслью, жизнью, так лирично, глубоко, возвышенно. Кажется, будто все это не стоило

никакого труда автору, — и тогда вспадает на ум вопрос: что же еще он сделал бы? Какие поэтические тайны унес он с собою в могилу? [1]»

Будучи великим произведением русской художественной прозы, «Герой нашего времени» является в то же время замечательным летописным памятником целой эпохи, чрезвычайно важной в истории русской культуры.

«Лермонтов — великий поэт, — утверждал Белинский по поводу «Героя нашего времени»: — он объективировал современное общество и его представителей» (письмо В. Г. Белинского к В. П. Боткину 13 июня 1840 г.). Вот почему ни одно сочинение, пытающееся изобразить жизнь, мысль, чувства и историческое дело людей 1830—1840-х годов, к которым принадлежат Белинский, Герцен, Огарев, Бакунин, не обходится без ссылок на показания Лермонтова, в образе Печорина «объективировавшего» одного из действительных героев этого замечательного времени.

Есть у романа Лермонтова и третье важное значение. Завершая собой целый ряд произведений Лермонтова, рисующих одиночку-мятежника, протестанта против окружающей его косной и реакционной среды, «Герой нашего времени» заключает в себе отражение многих мыслей, суждений и жизненных наблюдений самого Лермонтова. Большое значение «Героя нашего времени» для биографии Лермонтова давно уже признано биографами поэта.

---

[1] В. Г. Белинский уделил большое внимание «Герою нашего времени». Анализу романа специально посвящены четыре рецензии (1839, 1840, 1841 и 1843 гг.) и большая критическая статья (1840):

а) Рецензия на повесть «Бэла» напечатана впервые в «Московском Наблюдателе», ч. 2-я, 1839. См. Полное собр. соч. Белинского, под ред. Венгерова, т. IV, СПБ 1901.

б) «Герой нашего времени». Рецензия на 1-е изд. романа 1840 г., напечатана впервые в «Отечественных Записках» № 5, т. X, 1840. См. также Полн. собр. соч. Белинского, т. V, СПБ 1901. стр. 260—261.

в) «Герой нашего времени». Критич. статья, напечатана впервые в «Отечественных Записках», № 6, т. X, 1840 и № 7, т. XI. См. также Полн. собр. соч. Белинского, т. V, СПБ 1901, стр. 290—372.

г) «Герой нашего времени». Рецензия на 2-е изд. романа, впервые напечатана в «Отечественных Записках» № 9, т. XVIII, 1841. См. также Полн. собр. соч. Белинского, т. VI, СПБ 1903, стр. 312—316.

д) «Герой нашего времени». Рецензия на 3-е изд. романа, впервые напечатана в «Отечественных Записках» № 2, т. XXXII, 1844. См. также Полн. собр. соч. Белинского, т. VIII, СПБ 1907, стр. 429—430.

Несмотря на указанное тройное значение «Героя нашего времени», нельзя назвать ни одной литературоведческой работы, сполна посвященной знаменитому роману.

Существует большая критическая литература о личности Печорина, но до сих пор не было сделано попытки установить хронологию его жизни, чтобы точно определить «героем» *какого* «времени» он является, и выяснить, с *какой* социальной средой имеет он прямую связь. Не существует ни одной работы, которая пыталась бы выяснить *географическую почву и историческую обстановку,* в которой происходит самое действие романа Лермонтова.

Целое множество историко-географических подробностей и этнографо-бытовых деталей, важных для понимания романа, доныне остается без объяснения. Тема «Лермонтов в его романе» никем не разработана, отчего до сих пор неясна *автобиографическая* подоснова романа. Если вопрос о *потомках* Печорина, о дальнейших вариациях его типа в литературе, был поставлен И. Н. Розановым в его работе «Отзвуки Лермонтова» (1914), то вопрос о *сверстниках* Печорина, об его *литературных современниках,* еще не поставлен в литературоведении.

Можно бы значительно умножить число этих «пустых мест» в научном изучении «Героя нашего времени».

Предлагаемая работа ни в какой мере не притязает на то, чтобы восполнить все эти пробелы в изучении одного из величайших памятников русской литературы и общественности: это дело по силам не одному, а многим исследователям, при долгой и напряженной общей работе.

Автор представляет здесь читателю только пособие к такому изучению «Героя нашего времени». Предлагаемое пособие к изучению «Героя нашего времени» разделяется на две части.

Первую часть составляют отдельные статьи: «Лермонтов в работе над «Героем нашего времени», «Кавказ и кавказцы в романе Лермонтова», «Печорин», «Вокруг Печорина», «Сверстники и потомки Печорина».

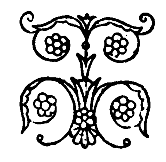
Вторая часть представляет собой свод объяснений, сопутствующих ходу авторского изложения. В этот объяснительный свод материалов к изучению романа вошли небольшие статьи-экскурсы, справки и заметки исторического, географического, этнографического, историко-литературного и биографического содержания,—поясняющие те или иные стороны романа Лермонтова, важные для его надлежащего прочтения и верного понимания. Отсутствие подобных объяснений даже

в лучших изданиях Лермонтова (например в издании «Academia», М.—Л. 1936—1937) делает появление такого объяснительного свода к «Герою нашего времени» существенно необходимым.

По мысли автора первый отдел книги должен ввести читателя в основные вопросы изучения «Героя нашего времени», второй отдел должен помочь читателю разобраться во многих других сторонах романа, в особенностях его литературного построения и в многообразии его жизненного содержания.

За дружескую помощь в моей работе приношу глубокую признательность проф. Н. Л. Бродскому, проф. Н. К. Гудзию, И. А. Комиссаровой, М. Н. Лошкаревой и проф. Н. П. Сидорову.

С. ДУРЫЛИН.




ИЗ
ТВОРЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ
РОМАНА



„ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“

ПЕЧОРИН В ПОВЕСТИ «КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ»

«ГЕРОЙ нашего времени» в составе пяти повестей, образующих роман, написан Лермонтовым в 1838—1839 гг., но, как попытка повествования о Печорине, он был начат значительно ранее.

16 января 1836 г. из Тархан Лермонтов писал С. А. Раевскому: «Пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве» [1]. Это была драма «Два брата», в главном действующем лице которой — Александре Радине — можно видеть первый набросок характера, близкого Печорину: недаром одну из наиболее ярких самохарактеристик Радина Лермонтов, почти без изменения, включил в одно из самых ответственных самопризнаний Печорина в «Княжне Мери». Два других действующих лица из той же драмы — князь и княгиня Вера Лиговские — явились литературными прообразами Веры и ее мужа в той же «Княжне Мери».

Следующим прямым этапом к «Герою нашего времени» явился неоконченный роман «Княгиня Лиговская» (1836). Лермонтов попытался в нем обработать тот же сюжет, что в «Двух братьях»; основою сюжета, как и там, послужило действительное «происшествие», причинившее много горя

[1] Все цитаты из писем и сочинений М. Ю. Лермонтова даны по Собранию сочинений издания «Academia», т. I—V, 1936—1937 гг., под ред. Б. М. Эйхенбаума.

поэту: любимая поэтом В. А. Лопухина (1814—1851) вышла замуж за Н. Ф. Бахметева (май 1835 года), но на этот раз «происшествие» было значительно осложнено другими художественными задачами. В писании романа принял какое-то участие друг Лермонтова, С. А. Раевский (1808—1876). Работа была прервана высылкой (в связи со стихами на смерть Пушкина) Лермонтова на Кавказ, Раевского — в Петрозаводск. Возвращенный из ссылки Лермонтов писал Раевскому 8 июня 1838 г.: «Роман, который мы с тобой начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины». Роман оборвался на 9-й главе.

«Княгиня Лиговская» — пролог к «Герою нашего времени». В нем впервые появляется Григорий Александрович Печорин, и роман дает *предъисторию* того самого Печорина, который является стержневым действующим лицом «Героя нашего времени». «Княгиня Лиговская» дает изображение его молодых петербургских лет, предшествующих высылке его на Кавказ, с которой начинается действие «Героя нашего времени». Это та пора жизни Печорина, о которой он говорит Максиму Максимычу: «В первой моей молодости, с той минуты, как я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце оставалось пусто». Среди этих «влюблений» у Печорина была и настоящая любовь — к Верочке Р-вой, вышедшей за князя Лиговского: это та самая Вера, которую во втором замужестве за Г-вым мы встретим в «Княжне Мери»: чувство к ней у Печорина конца 1830-х годов так же единственно и подлинно, как и у Печорина самого начала 1830-х годов. В «Княгине Лиговской» Печорин — молодой гвардейский офицер, с умом «резким и проницательным», с «пышным воображением», у него уже налицо все психические черты кавказского Печорина: показное «равнодушие», сквозь «холодную кору» которого «прорывалась часто настоящая природа человека» — страстная и волевая; деланная замкнутость не по «всеобщей моде», а потому, что «сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости»; на устах его «едкая шутка», скрывающая «собственное смущение». Наружность у него та же, что и у

противника Грушницкого. Социальная среда и классовая почва у петербургского Печорина те же, что у кавказского. Факты его молодой биографии ничем не противоречат биографии второго Печорина. «Повелитель трех тысяч душ и племянник двадцати тысяч московских тетушек», он странствовал по пансионам, поступил, наконец, в университет, а больше проказничал в веселой «bande joyeuse». Из университета ему пришлось пойти в военную службу, как самому Лермонтову вступить в петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Но «открылась польская кампания» — и вместо школы Печорин попал на войну. После кампании он «был переведен в гвардию», в Петербург. Давняя любовь к Верочке окончилась катастрофой: она вышла за князя Лиговского.

Все основные точки жизни Печорина и все характерные линии портрета «героя нашего времени» уже даны в «Княгине Лиговской»: этот роман мог бы развиваться в дальнейших главах в направлении, которое вело бы прямо к кавказскому Печорину. Но Лермонтов осложнил свою задачу. Он вложил в «Княгиню Лиговскую» много сырого автобиографического материала (в том числе свою историю с Сушковой[1] и вместе с тем пытался объективировать материал в виде реалистического повествования с двумя пересекающимися темами: социальной (история столкновения богатого гвардейца Печорина с бедным чиновником Красинским[2]) и психолого-романтической, в свою очередь двойной: а) любовь Печорина к Вере Лиговской и б) его «роман» с Негуровой. Лермонтов в «Княгине Лиговской» учится, на современной теме, приемам реалистического повествования, образцы которого дал Пушкин в «Повестях Белкина», но заимствует кое-что и у Гоголя из его «Петербургских повестей».

Сложность чисто художественной задачи уже сама по себе затрудняла развитие романа, а вместе с тем, с течением времени, для Лермонтова, как видно из приведенного письма к Раевскому, отпала, так сказать, злободневность того «происшествия», которое продолжало лежать в центре «Княгини Лиговской», как и в предшествующей драме. Творческое внимание поэта переносилось с события на личность

---

[1] Ср. Сушкова Е., Записки, «Academia», М. — Л. 1928.

[2] Столкновение это служит некоторой параллелью к столкновению Печорина с бедным армейцем Грушницким; столкновение Печорина с Красинским — в существующих главах «Княгини Лиговской» — не приводит к дуэли (о ней Печорин уже заводит речь) только из-за того, что Красинский считает долгом перед матерью своей — воздержаться от поединка.

Печорина, на его психологическую трагедию. Пребывание поэта на Кавказе в первой ссылке (1837) для Печорина сделало то же, что для «Демона»: Лермонтов перенес действие романа из Петербурга на Кавказ, точно так же, как действие поэмы — из Испании в Грузию.

РОМАН В ПОВЕСТЯХ

К тому же 1838 г., когда Лермонтов окончательно оставил «Княгиню Лиговскую», относится начало работы над первыми повестями из «Героя нашего времени». Для образа Печорина оказался чрезвычайно благоприятным уход от петербургского фона и окружения, который так старательно выписывался в «Княгине Лиговской»: фон этот выходил там очень похож на изображения московского и петербургского «света» в «Горе от ума», в «Евгении Онегине», в повестях В. Ф. Одоевского «Княжна Зизи» и «Княжна Мими». Рельефность образа Печорина сразу выиграла, как только фоном сделался Кавказ, а окружение стало пестрым: контрабандисты, черкесы, казаки, захолустные армейские офицеры, разношерстное общество на водах и т. д. Фигура Печорина, расплывавшаяся в петербургских сумерках светского безделья и пустоты, ярко осветилась контрастным, но правдивым светом. Уводя Печорина из Москвы и Петербурга на Кавказ и не приводя его ни на час в среднерусскую дворянскую усадьбу, Лермонтов избегал для своего героя параллелизма с его старшим братом — Онегиным.

Вместе с тем, вводя Печорина в каждой повести всякий раз в новую социальную среду, Лермонтов лишний раз обнаруживает безвыходное одиночество Печорина, его трагическую разобщенность с людьми: в какой бы жизненной среде, от светских дам до воинственных чеченцев, ни появлялся Печорин, в какие бы причудливые жизненные столкновения он ни был замешан, он нигде не пускает прочного корня в социальную почву, всегда он оказывается «лишним человеком», остающимся в полном одиночестве.

«Герой нашего времени» — не собрание разнородных повестей, сброшюрованных в роман с помощью общего заголовка.

Черновые рукописи «Максима Максимыча», «Княжны Мери» и «Фаталиста» (Ленинградская Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина) уже объединены общим заглавием: «Один из героев начала века» — явный знак, что они были задуманы и писались, как звенья одной цепи. Однако Лермонтов выдавал их в печать по отдельности, как

самостоятельные единицы, без хронологической или композиционной связи, объединяя лишь подзаголовками: «Из записок офицера о Кавказе». В письмах Лермонтова нет никаких упоминаний о процессе работы над повестями. Утаивая этот процесс от всех, Лермонтов лишил нас каких-либо показаний мемуаристов. Творческие усилия Лермонтова, как показывают рукописи, направлены главным образом на выработку языка повестей: он добивается чеканного изящества речи, емкой сжатости, меткой точности мыслей. Контуры образов, сценировка действия, идеология, социальная основа повестей остаются неизменными: рукописный текст — за 2—3 исключениями — мало отличается от печатного. Процесс их создания и выработки остается у Лермонтова за пределами рукописи. (См. мою книгу: «Как работал Лермонтов», М. 1934, из-во «Мир».)

БЭЛА

Из отдельных повестей, составляющих роман «Герой нашего времени», первой появилась в печати «Бэла» [1], с подзаголовком: «Из записок офицера о Кавказе». Подзаголовок точно определяет все особенности построения повести. Жанр «записок» — жизненных (путевых, военных и т. д.) и литературных — был распространен в 1810—1830-х годах, и в особенности жанр «записок офицера» (родоначальниками жанра явились С. Н. и Ф. Н. Глинки и И. И. Лажечников со своими офицерскими «письмами» и «записками» о войне 1812 года). В художественной прозе жанр «офицерских» — и в частности кавказских — записок разрабатывал декабрист А. А. Бестужев-Марлинский [2]. Не менее популярен был жанр «кавказских» же *путевых* записок. Так, в 1833 г., в распространенном «Московском Телеграфе» [3] напечатана чья-то «Поездка в Грузию», описывающая тот же перевал через Кавказский хребет, что и в «Бэле», но в обратном направлении. Классическими кавказскими путевыми записками явилось пушкинское «Путешествие в Арзрум» (первый отрывок в «Литературной Газете», 1830; полностью — в «Современнике», 1836). Лермонтов в «Бэле» и «Максиме Максимыче» воспользовался популярным жанром офицерских путевых

[1] «Отечественные Записки», кн. 3-я, т. II, 1839, стр. 167—212.

[2] Бестужев-Марлинский А. А., Еще листок из дневника гвардейского офицера, 1821; Красное покрывало, 1831—1832. Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев, 1834.

[3] «Московский Телеграф» № 15. август, стр. 327—367.

записок для яркого, психологически оправданного показа Печорина и для характеристики общества и природы, окружавших героя на Кавказе.

Картины природы даются в повести не в качестве романтико-философских эпизодов, не в виде вставных «стихотворений в прозе» и не в служебном значении яркого красочного «фона» для драмы: они занимают в повести вполне естественное и оправданное место страниц *путевого* дневника. Показ картин природы прерывается в повести то бытовыми подробностями переезда, то перемолвками автора с его дорожным спутником, то, наконец, рассказом Максима Максимыча про Бэлу. Яркие зарисовки кавказской природы реалистически оправданы в первой повести; Лермонтов в остальных частях романа уже не возвращается к ним (лишь в «Княжне Мери» даны два-три пейзажных наброска); однако читатель все время знает, где происходит действие.

Первая страница повести.
(«Отечественные Записки», № 3, 1839.)

В «Бэле» рассказана романическая история, которая могла бы уместиться в романтическую поэму с черкесами и русским офицером, наподобие поэмы «Измаил-бей» (1832), но Лермонтов дважды принял меры к тому, чтобы история прозвучала с предельной правдивостью и простотой: она извлечена из *записок* обыкновенного проезжего офицера, а в записки внесена со *слов* еще более обыкновенного армейского штабс-капитана. Пропущенная сквозь фильтр изустного бытового сказа, история любви русского офицера и черкешенки профильтрована от примеси мишуры и позолоты поэмного романтизма, для которого подобный сюжет сделался, к 1840-м годам, уже трафаретным.

Пейзаж, психологическая характеристика, бытовая сцена, повествовательный чужой «сказ» — в «Бэле» связаны в одно

целое, свободно развертывающееся по двум параллелям: а) перевал двух офицеров через Крестовую гору, описанный в записках одного из них, и б) драматический эпизод из жизни героя романа, разыгравшийся в этих же горах. Такой композицией Лермонтов достиг естественной увязки всех элементов повести: положений, лиц, фабулы, пейзажа, соотношений причинных и стилистических.

Герой романа, Печорин, показан в повести сквозь призму мысли, чувства и нравственного суда человека, ему противоположного, — через «сказ» простого армейского служаки Максима Максимыча. Это опять нарочито реалистический способ показа сложного характера через восприятие его в сознании обыкновенного человека, каких тысячи. В предшествующих своих произведениях — в романтических поэмах — Лермонтов прибегал только к противоположному методу: он пытался показать своего героя — бунтаря-одиночку и лишнего человека-протестанта — с помощью его собственных самопризнаний, «исповедей», монологов и т. д. («Исповедь», «Боярин Орша», «Демон», «Маскарад» и др.).

Во второй части романа Лермонтов показывает Печорина и с помощью его дневника: внутренний мир Печорина так сложен и замкнут, что его невозможно было бы обнаружить с помощью одних лишь показаний свидетелей со стороны (Максим Максимыч, проезжий офицер). Исповедь Печорина перед самим собой — дневник — была поэтому необходимой частью романа.

При первом появлении «Бэлы» в «Отечественных Записках» Белинский уже признал в повести Лермонтова произведение, в котором должно видеть образец художественной реалистической прозы: «Простота и безыскусственность этого рассказа невыразимы, и каждое слово в нем так же на своем месте, как богато значением. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него. Чтение прекрасной повести Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие повестей Марлинского». Через год после этого отзыва, говоря о «Бэле» в статье о «Герое нашего времени», Белинский требовал от читателя «обратить внимание на эту естественность рассказа, так свободно развивающегося — без всяких натяжек, так славно текущего собственною силою, без помощи автора» [1].

---

[1] «Отечественные Записки», № 6, т. X, 1840, стр. 27—54.

ФАТАЛИСТ

Второй повестью из числа образующих «Героя нашего времени» явился в печати «Фаталист»; написанный в первой половине 1839 г., он был напечатан в ноябре этого же года в «Отечественных Записках»[1] с таким предисловием: «Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максим Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все читатели «Отечественных Записок» помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю Бэлы, напечатанную в третьей книжке второго тома «Отечественных Записок», а Печорин — тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался». Предисловие устанавливало композиционную связь между повестями, разделенными в журнале семимесячным промежутком, впервые соединяя их в какое-то целое повествование. В романе связь эта устанавливается особой повестью — «Максим Максимычем», а композиционное местонахождение этих двух, ранее всего написанных, повестей, оказалось иным: «Бэла» начинает роман, «Фаталист» его заканчивает. Стилистически «Фаталист» объединяется с «Таманью»: обе повести — отрывки из *записок* Печорина, повествующие об отдельном замкнутом эпизоде его биографии, в котором центральным действователем является другое лицо. Как и в «Тамани», Печорин изображен в «Фаталисте» человеком активным и волевым, но растрачивающим впустую свои силы.

ТАМАНЬ

Третья из повестей, вошедших в «Героя нашего времени» и напечатанных до появления целого романа, повесть «Тамань», написанная в 1839 году, появилась[2] перед самым выходом в свет всего романа, с примечанием: «Еще из записок Печорина, главного лица в повести «Бэла», напечатанной в третьей книжке «Отечественных Записок» 1839 года». В этом эпизоде из «записок», веденных после описываемого события, как спокойное его припоминание, Печорин действует в социально чуждой ему среде (черноморские контра-

---

[1] «Отечественные Записки», кн. 11-я, т. VI, стр. 146—158.

[2] «Отечественные Записки», кн. 3-я, т. VIII, 1840, стр. 144—154.



М. Ю. Лермонтов.

(С акварельного автопортрета 1837 г.)

бандисты), выказывая беспокойный интерес к сильным ощущениям и крепость самообладания. Но занят в «записках» Печорин не собой, а окружающим и происходящим: Лермонтов заставил его с пристальной внимательностью и предельной отчетливостью *изображать* жизнь, а не размышлять о ней.

В основе сюжета повести лежит, по мемуарному преданию [1], происшествие, случившееся с самим Лермонтовым во время его квартирования в Тамани, у казачки Царицыхи [2]. Внешняя обстановка и характеры действующих лиц изображены Лермонтовым близко к действительности, как видно из воспоминаний товарища Лермонтова, М. Цейдлера, посетившего Тамань в 1838 году [3]. Изображая события рукой Печорина, Лермонтов передал ему всю зоркость своей реалистической наблюдательности и меткую чеканность рассказа. При драматической стремительности действия, повествование развертывается со спокойной поступательной ровностью эпоса. При крайней простоте и сжатости изложения, когда на учет берется каждое слово, повесть насыщена всем полнокровием жизни. «Тамань» остается в русской литературе непревзойденным образцом повести. Появление ее Белинский встретил восторженными словами: «Мы не решились делать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их; это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом; она вся в форме; если выписывать, то должно бы ее выписать всю от слова до слова; пересказывание ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ, хотя бы и восторженный, о красоте женщины, которой вы сами не видели».

К «Тамани» больше, чем к какой-либо другой части «Героя нашего времени», относятся отзывы другого лагеря критики — славянофильского, его правого (С. П. Шевырев) и левого (Аполлон Григорьев) флангов: «Его сила творческая легко покоряет себе образы, взятые из жизни, и дает им живую личность. На исполнении видна во всем печать

---

[1] Точные данные о пребывании Лермонтова в Тамани отсутствуют.

[2] См. Мартьянов П., Дела и люди века, т. I, СПБ 1893; «Русский Архив», кн. 8-я, 1893 (сообщение П. Бартенева); «Русское Обозрение», кн. 1-я, 1893 (сообщение С. И. Мартынова) и др.

[3] Цейдлер М., На Кавказе в 30-х годах, «Русский Вестник» № 9, 1888.

строгого вкуса: нет никакой приторной изысканности, и с первого раза особенно поражают эта трезвость, эта полнота и краткость выражения, которые свойственны талантам более опытным, а в юности означают силу дара необыкновенного» (Шевырев). Аполлон Григорьев говорил о Лермонтове, как о «писателе, лучше и проще которого не писал по-русски никто после Пушкина».



Декабрист А. И. Одоевский.
(С акварели М. Ю. Лермонтова.)

Великие художники русской прозы являются величайшими ценителями лермонтовской прозы, и в первую очередь — «Тамани».

В июне 1840 г. С. Т. Аксаков писал Н. В. Гоголю: «Я прочел Лермонтова «Героя нашего времени» в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов прозаик будет выше Лермонтова стихотворца»[1]. В статье «В чем же наконец существо русской поэзии» (1846) Гоголь утверждал: «Никто еще не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою» — *никто:* стало быть, ни Пушкин, ни сам Гоголь. В дневнике Льва Толстого находим записи об усиленном чтении Лермонтова: «Читал Лермонтова 3-й день» (1852, XII, 26); «перечитывал «Героя нашего времени» (1854, XII, 11) и т. д. Усиленно читая в начале 1850-х годов, — в эпоху формирования собственного стиля, — прозу Лермонтова, Л. Н. Толстой явно отдавал ей преимущество перед прозой Пушкина. «Я читал «Капитанскую дочку» — записывает Толстой в кавказском дневнике 1853 года (31 ноября) — и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара не слогом, но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий... Повести Пушкина голы как-то». В этом замечании «интерес подробностей чувства», интерес психологического

---

[1] Аксаков С. Т., Литературные и театральные воспоминания. П., 1918, стр. 340.

анализа, составляющий самое существо «Героя нашего времени», поставлен выше «интереса самых событий». Повести Пушкина, лишенные психологического анализа, но богатые развитием сюжета, поэтому кажутся Толстому «голыми». В собственноручном списке книг, оказавших на него влияние, Толстой отмечает: «Лермонтов. Герой нашего времени. Тамань. Очень большое»[1]. В 1909 г. на вопрос пишущего эти строки, какое из произведений русской прозы он считает совершеннейшим с точки зрения художества, Лев Николаевич, ни мало не колеблясь, назвал «Тамань». Тургенев признавал, что «из Пушкина целиком выработался Лермонтов: та же сжатость, точность и простота». Указывая, что в «Княжне Мери» есть отголосок французской манеры, Тургенев восклицал: «Зато какая прелесть «Тамань»!»[2]. Неоднократно называя «Тамань» как образец русской прозы, Чехов утверждал: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения. Так бы и учился писать»[3]. «Тамань», в глазах Чехова, — учебная книга высшего художественного мастерства.

В письме к Я. П. Полонскому Чехов писал: «Лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уже о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой»[4].

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Две остальные повести из числа составляющих роман «Герой нашего времени» — «Максим Максимыч» и «Княжна Мери» — Лермонтов не печатал в журнале, а обнародовал впервые в отдельном издании своего романа в 1840 г.

Повесть «Максим Максимыч», написанная в 1839 г., составляет прямое — сюжетное, хронологическое и стилистическое — продолжение первой: в черновом автографе она, как и «Бэла», носила подзаголовок: «Из записок офицера» с эпиграфом: «И они встретились». (Один сочинитель.) Но в общей

---

[1] См. Апостолов Н., Л. Толстой и его спутники, М. 1928, стр. 15—17; Бирюков П., Биография Л. Н. Толстого, изд. 3-е, т. I, стр. 60.

[2] Л(уканина) А., Мое знакомство с Тургеневым, «Северный Вестник» № 2, 1887, стр. 54.

[3] Щ(укин) С., Из воспоминаний о Чехове, «Русская Мысль», кн. 10-я, 1911, стр. 46.

[4] Чехов А. Н., Несобранные письма, Л. 1927, стр. 72.

системе сложного повествования о Печорине «Максим Максимыч» занимает заключительное место: это предпоследний этап из «беспокойств» лишнего человека: его бегство из опостылевшей России. В дальнейшем, нам остается узнать из предисловия к «Журналу Печорина» только о его смерти. В противоположность «Княжне Мери», «Максим Максимыч» имеет значение дополнения, необходимого для законченной вырисовки главного героя, — значение звена, связующего отдельные повести в роман. В «Максиме Максимыче» Печорин показан извне: описание его наружности, необходимое для романа, не могло найти места в его собственных записках и дневнике («Тамань», «Фаталист», «Княжна Мери») и не могло быть поручено такому простодушному рассказчику, как Максим Максимыч. Единственное лицо, которому это могло быть поручено без нарушения правдоподобия, был человек того же социально-культурного круга, как и сам Печорин, — офицер-путешественник. Печорин взят на ходу: он едет в Персию неизвестно зачем — и именно эта эпизодичность, случайность, мгновенность встречи придает рассказу особую достоверность: Печорин здесь сфотографирован, тогда как в других повестях или он сам рисовал себя, или его рисовали. Стремясь к объективности показа своего героя, Лермонтов исчерпывающе дополнил этой повестью свой цикл повестей о нем. С другой стороны, повесть дает образ Максима Максимыча в прямом соотношении с образом Печорина; от этого контрастного сопоставления выигрывают в правдивости обе фигуры: разочарованного гвардейца-аристократа и крепкого «бытового человека» — старого служаки-армейца. На путях Лермонтова к реализму «Максим Максимыч» — последний этап: в повести нет ни одного романтического штриха. Именно на опыте «Максима Максимыча» Гоголь мог утверждать, что в Лермонтове «готовился будущий великий живописец русского быта». Многие новые вариации типа Максима Максимыча появились в военных повестях Льва Толстого.

КНЯЖНА МЕРИ

Самая крупная из повестей, входящих в состав «Героя нашего времени», «Княжна Мери», написана в 1839 г. и, как указано, появилась только в отдельном издании романа (1840). В композиции романа ей принадлежит центральное место: это повесть Печорина о самом себе. Поэтому ей придана форма *дневника*, — прямых, своевременных откликов на

жизнь, непосредственных «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», — в противоположность «Тамани» и «Фаталисту», являющимися отрывками из *записок* Печорина о событиях, ранее пережитых, в которых участие его было случайным. Поскольку «Герой нашего времени» есть первый русский психологический роман, «Княжна Мери» является его сердцевиной: именно в ней высказана «история души человеческой» (см. предисловие к «Журналу Печорина»). Печорин показан здесь в автохарактеристике, но связь его с людьми, сношения любовные, дружеские, враждебные, соприкосновения с разными кругами «водного общества» вносят в эту автохарактеристику важные дополнения: таким путем вводятся более объективные коррективы в субъективные страницы дневника. Конец повести опять дает не *дневник*, а *записки*, писанные после событий, что более объективирует изложение важнейшего события (дуэль), развязывающего повесть: Печорин ведет эти записки в крепости Максима Максимыча, где отбывает наказание за дуэль с Грушницким. Вставленное в эту запись Печорина *письмо Веры* вводит читателя в новый опыт понимания личности Печорина: силуэт его рисуется рукой любящей женщины. В свою повесть Лермонтов вводит, глубоко их изменяя, тех, кого пробовал ввести в центр неоконченной «Княгини Лиговской»: Вера — это княгиня, муж ее — князь. Эти лица, мелодраматически показанные еще в пьесе «Два брата» (1836), в повести становятся на втором плане (особенно князь — муж Веры), но зато приобретают действительную жизненность. Лермонтов понял, что ошибался доселе в размерах и пропорциях изображения: в рисунке второго плана оказалось жизненно то, что было неудачно намечено в пятиактной мелодраме, и оказалось ярким и четким то, что расплывалось на страницах неоконченного обширного романа. Прозвище «Лиговские» и княжеский титул присвоены теперь Мери и ее матери.

Записи дневника Печорина строются по нескольким типам: афористических заметок, моментальных психологических фотоснимков с самого себя, диалогов с Вернером и Грушницким, широких зарисовок с натуры (водное общество, бал в ресторации), торопливых, коротких памяток о случившемся (например запись от 14 июня). Эта пестрота записей, уничтожая обычную монотонность дневниковых повествований, придает повести сложность и живость, позволяя провести через записи живую вереницу действующих лиц разного калибра и окраски. Из их числа Грушницкий играет в

«Княжне Мери» роль, композиционно близкую той, что играл Максим Максимыч в «Бэле»: армейский юнкер контрастирует с Печориным, как армейский штабс-капитан, но с той существенной разницей, что контрастирование сгущено здесь до пародирования. Грушницкий часто оказывается Печориным, показанным в кривом зеркале. С другой стороны, в лице доктора Вернера Печорин сопоставлен в романе с человеком интеллигентной профессии, вероятно, разночинцем по происхождению (на дворянство Вернера в романе нет ни намека) и материалистом по мировоззрению. Вернер — единственное лицо в романе, которое умственно близко и интеллектуально равно Печорину.

«Княжна Мери» — единственная из пяти повестей, где Печорин появляется на фоне родной ему социальной среды высшего столичного светского общества, но эта среда скупо урезана до одной гостиной княгини Лиговской. Остальное окружение Печорина — кавказское офицерство и провинциальное дворянство.

В хронологической последовательности сквозного повествования, события, рассказанные в «Княжне Мери», предшествуют тому, о чем рассказывается в «Бэле», «Фаталисте», «Максиме Максимыче» — и следуют, с некоторым перерывом во времени, за тем, что рассказано в «Тамани». Хранящийся в Ленинградской Публичной библиотеке автограф «Княжны Мери» позволяет проследить приемы работы Лермонтова над прозой (см. комментарий к этой повести).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЖУРНАЛУ ПЕЧОРИНА

Проведя три повести в «Отечественных Записках» [1], Лермонтов, не печатая в журнале остальных двух повестей, объединил пять повестей в отдельном издании не в виде *собрания повестей,* как было оповещено при печатании «Фаталиста» [2], а в виде *романа в двух частях.*

Первую часть составляют «Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань». Вторая часть состоит из «Княжны Мери» и «Фаталиста».

---

[1] Повести были напечатаны в таком порядке: «Бэла» — 1839, март; «Фаталист» — 1839, ноябрь; «Тамань» — 1840, март.

[2] «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издает собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе» («Отечественные Записки», т. VI, 1839, стр. 146).

Три последние повести расположены одна за другой, как отрывки особого «Журнала Печорина», — единственного действующего лица романа, которое проходит через все пять повестей.

«Журнал Печорина», составляющий ровно две трети всего романа, дает самоизображение Печорина, в противоположность первой трети романа («Бэла» и «Максим Максимыч»), где Печорин изображается со стороны. Лермонтов не мог ограничиться этим объективным изображением своего героя со стороны, так как основной считал для себя психологическую задачу, а она лучше всего разрешалась в форме исповеди [1]. Форма дневников и записок сама собой исключала возможность сатирического показа героя.

Недовольный этим С. П. Шевырев упрекал Лермонтова: «Такие люди, как Печорин, не ведут и не могут вести своих записок, — и вот главная ошибка в отношении к исполнению. Гораздо лучше было бы, если бы автор рассказал все эти события от своего имени: так искуснее бы он сделал и в отношении к возможности вымысла и в художественном» [2].

Предисловие офицера-издателя — в первом издании (1840) единственное предисловие, бывшее в романе, — устанавливает ту точку зрения, с которой читатель должен относиться к признаниям Печорина, находящимся в его «журнале»: издатель «убедился в *искренности*» Печорина и исповедь его определяет, как «беспощадную» к его «слабостям и порокам».

Чтобы еще сильнее подчеркнуть искренность исповеди Печорина, «издатель» противопоставляет ей знаменитейшую из автобиографий — «Исповедь» Жан Жака Руссо (1712—1778). «Недостаток» ее, по суду Лермонтова, не только в том, что автор «читал ее друзьям», но в неискренности и сочиненности; сравнивая «Новую Элоизу» Руссо с «Вертером» Гете, Лермонтов писал в «Заметках» 1831 г.: «Вертер лучше. Там человек — более человек. У Жан Жака даже пороки не таковы, как они есть. У него герои насильно хотят уверить человека в своем великодушии».

И автобиографию, и роман Руссо Лермонтов определяет как «историю души человеческой» и утверждает: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли

---

[1] Ср. Бенжамен Констан, Адольф, А. Мюссе, Исповедь сына века, и др.

[2] «Москвитянин» № 2, 1841, стр. 531—532.

Недавно я узналъ, что Печоринъ, возвращаясь изъ Персіи, умеръ. Это извѣстіе меня очень обрадовало: оно давало мнѣ право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя надъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богъ, чтобъ читатели меня не наказали за такой невинный подлогъ.

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому; но я видѣлъ его только разъ въ жизни на большой дорогѣ, слѣдовательно не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ его головою градомъ упрековъ, совѣтовъ, насмѣшекъ и сожалѣній.

Перечитывая эти записки, я убѣдился въ искренности того, кто такъ безпощадно выставлялъ наружу собственныя слабости и пороки. Исторія души человѣческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнѣе и не полезнѣе исторіи цѣлаго народа, особенно когда она слѣдствіе наблюденій ума зрѣлаго надъ самимъ собою, и когда она писана безъ желанія возбудить участіе или удивленіе. Исповѣдь Руссо имѣетъ уже тотъ недостатокъ, что онъ читалъ ее своимъ друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы побудило меня напечатать отрывки изъ журнала, доставшагося мнѣ случайно. Хотя я перемѣнилъ всѣ собственныя имена, но тѣ, о которыхъ въ немъ говорится, вѣроятно себя узнаютъ, и можетъ быть

Первая страница автографа предисловия к „Журналу Печорина“.

не любопытнее и не полезнее истории целого народа»[1]. Лермонтов был хорошо знаком с классическими «историями души» XVIII—XIX веков, каковы «Вертер» Гете, поэмы Байрона, «Рене» Шатобриана, «Адольф» Б. Констана, «Исповедь сына века» Мюссе, «Оберманн» Сенанкура и др. Каждая поэма Лермонтова, в той или иной степени, есть «история души человеческой», изложенная в форме исповеди[2].

«Герой нашего времени» — первый опыт психологического романа в русской литературе. Своим романом Лермонтов положил прочную основу нашему психологическому роману, — указывал еще проф. Н. И. Стороженко. Хотя Тургенев и Достоевский считали себя учениками Пушкина, но по психологическому характеру творчества их романы и повести теснее примыкают к «Герою нашего времени», чем к «Капитанской дочке» и повестям Пушкина. Особенно близка здесь связь с Лермонтовым у Л. Н. Толстого: его «история души человеческой» в трех фазах ее развития: детство, отрочество, юность, была бы невозможна в русской литературе до появления лермонтовского психологического романа.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПЛАН РОМАНА

Если б держаться последовательности *событий*, развертывающихся в пяти повестях, образующих «Героя нашего времени», они должны были бы быть расположены в таком порядке:

1) Высланный из Петербурга Печорин задерживается на пути в действующую армию в Тамани, где происходит случай с контрабандистами («Тамань»). 2) После какой-то военной экспедиции, в которой участвовал Печорин, ему разрешено пребывание на водах в Пятигорске и Кисловодске, где происходит история с Мери и дуэль с Грушницким («Княжна Мери»). 3) Сосланный за эту дуэль в глухую крепость, под начальство Максима Максимыча, Печорин переживает там роман с Бэлой («Бэла»). 4) Во время пребывания в крепости Печорин на две недели отлучается

---

[1] «Подобную мысль проводит в своей автобиографии (Histoire de M-r Nicolas) один из видных руссоистов XVIII века — Ретиф де ла Бретонн» (М. Н. Розанов, Байронические мотивы в творчестве Лермонтова, в сб. «Венок Лермонтову», М. 1914).

[2] Ср. «Исповедь», «Моряк», «Мцыри», «исповеди» — в поэмах «Измаил-бей», «Боярин Орша», «Демон» и др.

в казачью станицу, где держит роковое пари с Вуличем («Фаталист»). 5) Переведенный после смерти Бэлы из крепости в Грузию и возвращенный в Петербург, Печорин вновь появляется на Кавказе и по дороге в Персию встречается во Владикавказе с Максимом Максимычем и с проезжим офицером («Максим Максимыч»). 6) На обратном пути из Персии Печорин умирает (Предисловие к «Журналу Печорина»).

Компонируя повести в роман, Лермонтов заменил хронологическую последовательность событий жизни героя последовательностью знакомства проезжего офицера с личностью Печорина. Роман начинается поэтому «Бэлой», продолжается «Максим Максимычем», оставаясь в пределах дорожных записок офицера, а затем переключается в записки и дневник самого Печорина, расположенные в хронологической последовательности событий, в них описываемых: 1) «Тамань», 2) «Княжна Мери», 3) «Фаталист». Таким образом, сперва мы узнаем о Печорине в порядке объективном (от других лиц): а) Максима Максимыча и б) офицера, а потом — в порядке субъективном — от него самого.

Личность Печорина объединила повести в звенья одной цепи. Заглавие — «Герой нашего времени» — скрепило и замкнуло эту цепь в роман.

ЗАГЛАВИЕ РОМАНА

Заглавие у редкой книги обладает таким значением, как у романа Лермонтова. От того или иного понимания его заглавия зависит понимание смысла самого романа. Этому причиной признание, заканчивающее предисловие к журналу Печорина: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ — заглавие этой книги.—«Да это злая ирония!» скажут они. «Не знаю». Это «не знаю» представляет читателю решение основного вопроса: кто такой Печорин?

Решение вопроса тем существеннее, что *заглавию* Лермонтов дал большую роль в композиции всего произведения: заглавие объединяет пять отдельных повестей в цельный и стройный роман, подчеркивая и выдвигая значительность того единственного действующего лица, которое является связующим для всех пяти повестей.

Вокруг того или иного понимания заглавия, а следовательно и замысла романа, возгорелась борьба уже при первом появлении произведения в 1840 г. Критики резко раз-

делились на два лагеря. Правый лагерь высказался устами С. П. Шевырева: «Итак, по мнению автора, Печорин есть герой нашего времени. В этом выражается и взгляд его на жизнь, нам современную, и основная мысль произведения. Если это так, стало быть, век наш тяжко болен...» Этот «недуг века» по мнению Шевырева заключается в «гордости духа» и в «низости пресыщенного тела». Признаки этого недуга Шевырев усматривал на Западе, объявляя болезнью все, что было в Европе 1830 — 1840-х годов прогрессивного: и «гордую философию, которая духом человеческим думает постигнуть все тайны мира», и «суетную промышленность, которая угождает напрерыв всем прихотям истощенного наслаждениями тела». Основной признак болезни, которою болен Запад, — это, по Шевыреву,— «гордость человеческого духа», которая «видна в... злоупотреблениях личной свободы воли и разума, какие заметны во Франции и Германии». Поскольку и в Печорине живет это стремление к «личной свободе воли», конечно, требующей и свободы политической, поскольку Печорин — сторонник «разума», а не слепой веры, Шевырев, желая устранить самую возможность появления таких людей в русской жизни, заявил, что Печорин — лицо выдуманное. «Все содержание повестей г-на Лермонтова, кроме Печорина, принадлежит нашей существенной русской жизни; но сам Печорин, за исключением его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада. Это призрак, только в мире нашей фантазии имеющий существенность» [1].



М. Ю. Лермонтов.
(С рисунка Д. И. Палена 1840 г.)

[1] «Москвитянин» № 2, ч. 1-я, 1841, стр. 533—571.

Левый лагерь, устами В. Г. Белинского, занял противоположную позицию. Он с решительностью признавал: «Этот роман совсем не злая ирония, хотя и очень легко может быть принят за иронию; это один из тех романов,

> В которых отразился век,
> И современный человек
> Изображен довольно верно
> С его безнравственной душой,
> Себялюбивой и сухой;
> Мечтанью преданный безмерно
> С его озлобленным умом,
> Кипящим в действии пустом.

После анализа характера Печорина, Белинский делал такой заключительный вывод: Печорин — «это Онегин нашего времени, *герой нашего времени.* Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда, в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и невидимая самим поэтом» [1]. Через год в рецензии на 2-е издание «Героя нашего времени», Белинский повторил свой отзыв: «Этот роман был книгою, вполне оправдывающей свое название. В ней автор является решителем важных современных вопросов» [2]. В частной переписке Белинский еще усиливал свой отзыв, высказанный в печати: «Нет, не тебя, а целое поколение обвиняю я в твоем лице, — писал великий критик В. П. Боткину (13 июня 1840 г.) в год выхода «Героя нашего времени». — «Отчего же европеец в страдании бросается в общественную деятельность и находит в ней выход из самого отчаяния? О, горе, горе нам —

> И ненавидим мы, и любим мы случайно,
> Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.
> И царствует в душе какой-то холод тайный,
> Когда огонь кипит в крови... [3]

---

[1] «Отечественные Записки» № 6, 1840, стр. 27—34 и № 7, стр. 1—38.

[2] «Отечественные Записки» № 9, 1841.

[3] Строки из «Думы» Лермонтова. Выписав эти же строки в своей статье 1840 г. «Герой нашего времени», Белинский указывал: «Печорин есть один из тех, к кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени».

Жалкое поколение!.. Я не согласен с твоим мнением о натянутости и изысканности (местами) Печорина, они разумно необходимы. Герой нашего времени должен быть таков. Его характер — или решительное бездействие, или пустая деятельность. В самой его силе и величии должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтов — великий поэт: он объективировал современное общество и его представителей».

В приведенном отрывке из письма к В. Боткину, одному из видных представителей поколения, к которому принадлежал сам Белинский, великий критик настаивает на том, что Лермонтов изобразил в Печорине человека этого поколения.

Некоторыми своими сторонами (каковы: рационализм, скепсис, осознание прав личности на жизненное и творческое самоопределение, критическое неприятие окружающей действительности и т. д.) Печорин, действительно, имеет черты сходства и некоторой родственности с людьми конца 1830 — начала 1840-х годов, но сходство это ограничивается весьма определенными рамками.

Сближаясь с Печориным общностью разочарования в действительности, критическим рационализмом и остротою сознания своей личности и ее прав, Белинский, Герцен, Огарев и другие люди 1830—1840-х годов резко отличались от Печорина стройным общественно-политическим миросозерцанием и все растущим порывом к прогрессивной общественной деятельности. В этом смысле не Печорин, а люди, подобные Белинскому, Герцену, Огареву и др., могут быть названы «героями» своего «времени».

На заглавие «Герой нашего времени» Лермонтова могли натолкнуть предыдущие заглавия: автобиографической повести Н. М. Карамзина «Рыцарь нашего времени», романа Альфреда Мюссе «Исповедь сына века» (с которым Лермонтов познакомился в 1838 г.) и др.

Заглавие романа сделалось прототипом заглавий многих литературных произведений (например, «Героям нашего времени» Ап. Григорьева, «Герои времени», 2-я часть поэмы Н. Некрасова «Современники» (1875) и др.) и живет доныне, как «крылатое слово», метко обозначающее человека, созвучного своей эпохе по своему психическому и умственному строю [1].

---

[1] В «Известиях» № 163 (6630) от 15 июля 1938 г. помещен фельетон «Герой нашего времени», посвященный характеристике Героя Советского Союза В. К. Коккинаки.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Предисловие — те первые страницы, которыми открывается роман «Герой нашего времени», — написано Лермонтовым позже всего. Оно появилось во 2-ом издании романа (1841), где помещено в начале второй части, открывающейся «Княжной Мери»[1]. Предисловие вызвано житейскими и журнальными толками, порожденными «Героем нашего времени»: оно истолковало общественный и психологический смысл романа, каким он представлялся самому автору.



Титульный лист второго издания.

В черновой рукописи Лермонтов резче обозначал повод к написанию предисловия: «Мы жалуемся только на недоразумение публики, не на журналы: они, почти все, были более чем благосклонны к нашей книге, все, кроме одного, который как бы нарочно в своей критике смешивал имя сочинителя с именем героя его повести, вероятно, надеясь, что его читать никто не будет. Но хотя ничтожность этого журнала и служит ему достаточной защитой, однако, все-таки прочитав пустую и неприличную брань, на душе остается неприятное чувство, как после встречи с пьяным на улице». Лермонтов в печатной редакции это место сократил в одну фразу: «другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых».

---

[1] Хотя в эпоху Лермонтова бывали случаи, что «предисловия», ради усложнения композиции романа, помещались не в начале, а в середине романа («Странник» Вельтмана (1831—1832), «Княжна Мими» В. Ф. Одоевского (1834) и др.), — предисловие к «Герою нашего времени» попало в начало 2-й части романа, несомненно, по техническим причинам: присланное автором позднее начала печатанья 1-й части, оно могло попасть лишь во 2-ю часть и напечатано там с особой нумерацией страниц.

Лермонтов имел здесь в виду статьи реакционного писателя С. О. Бурачка в его журнале[1], выносившего обвинительный приговор роману: «*Весь роман — эпиграмма, составленная из беспрерывных софизмов, так что философии, религиозности, русской народности и следов нет.* Всего этого слишком достаточно, чтобы угодить вкусу «героев нашего времени»... От души жалеешь, зачем *Печорин, настоящий автор этой книги,* так во зло употребил прекрасные свои дарования, единственно из-за грошовой подачки — похвалы людей, зевающих от пустоты головной, душевной и сердечной... Короче, эта книга — идеал легкого чтения. Она должна иметь огромный успех! Все действующие лица, кроме Максима Максимыча с его отливом ridicule'я (смешного. — *С. Д.*), на подбор удивительные герои; и при оптическом разнообразии все отлиты в одну форму — *самого автора Печорина,* генерал-героя, и замаскированы, кто в мундир, кто в юбку, кто в шинель, присмотритесь: все на одно лицо и все — казарменные прапорщики, не перебесившиеся. Добрый пучок розог — и все рукой бы сняло!»[2] «Оппозиция застоя недаром накинулась на Лермонтова с неистовым озлоблением, — писал Ап. Григорьев по поводу отзыва Бурачка. — Она поняла сразу великую отрицательную силу в Лермонтове; но обаянию, производимому его созданием, могла противопоставить только голые ругательства»[3].

Сливая личность автора с личностью Печорина и утверждая, что в романе, создании их обоих, «нет следов религиозности и русской народности», Бурачок превращал свой отзыв в политический донос на Лермонтова — писателя и человека. Для поэта, только что отправившегося во вторую ссылку, было важно опровергнуть обвинение Бурачка. Поэтому Лермонтов с особой силой отражает в предисловии обвинение в том, что его герой — «портрет *одного* человека», и всячески предостерегает читателя от отождествления автора с героем его произведения.

Лермонтов видел в своем романе не личную «исповедь» наподобие своих прежних романтических поэм, облекавших переживания самого Лермонтова в байронические образы, — Лермонтов видел в «Герое нашего времени» опыт реалистического романа, а в образе Печорина создавал синтетиче-

---

[1] «Маяк», ч. 4, 5, 9-я, 1840.
[2] «Маяк», ч. 4-я, отд. 4-й, 1840, стр. 211 и 217.
[3] «Время» № 10—12, 1862.

[redacted]

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная [redacted] брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную [redacted] доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же

Автограф предисловия к роману.

ский образ, сложившийся из наблюдений над жизнью и мыслью целого поколения. Став на точку зрения Бурачка, нужно было бы отрицать всякое общественное значение за романом Лермонтова: если Печорин — не общественно-сложившийся тип, а всего только отлично выписанный частный портрет, его историческая показательность, его социальная иллюстративность равны нулю.

Своим отпором Бурачку Лермонтов утверждал за своим романом достоверность правдивого свидетельства о широком и важном общественном явлении [1].

Лермонтов отвергает в предисловии и другое обвинение — в писательской безнравственности, расценивая эти обвинения так же, как расценивал их Байрон:

Меня язвят со злобой лицемеры,
Их злая брань несется как поток,
По-ихнему я — враг заклятый веры
И чествую в своих стихах порок.
Нападки наглецов не знают меры...
. . . .
Желая наложить на мысль оковы,
Орава злая нравственных калек
Кричит, что потрясаю я основы...[2]

Лермонтов утверждает, что Печорин есть типовой портрет «нашего поколения»; если находить его «дурным» и отрицать «возможность» его «существования», то он не менее вероятен, чем все «трагические и романтические» герои. В черновике Лермонтов подробнее и резче развивал свою мысль: «Герой нашего времени, М(илостивые) Г(осудари) мои, точно портрет, но не одного человека: это тип. Вы знаете, что такое тип? Я вас поздравляю. Вы мне скажете, что человек не может быть так дурен, — а я вам скажу, что вы все почти таковы; иные немного лучше, многие гораздо хуже. Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?»

Реальность Печорина Лермонтов противопоставляет вымышленным героям «ужасных романов» раннего романтизма — в их числе «Вампиру», автором которого считали Байрона, и «Мельмоту-Скитальцу» Роберта Матюрена (1782—1824).

[1] Не удовлетворившись нападками на Лермонтова в критических статьях, Бурачок («Маяк», т. XIX и XX, 1845) напечатал свой роман «Герой нашего времени», пытаясь дать в форме художественного произведения развернутое возражение Лермонтову (см. об этом специальную статью С. Андреева, Лермонтов и реакция, «30 дней» № 7, 1938, стр. 88—90).

[2] Байрон, Дон-Жуан, перев. П. Козлова, песнь IV.

Сверхъестественное существо, Мельмот, служит злу, переживая мрачные и таинственные приключения в разных веках. Петербургский свет, заметив вернувшегося из странствий Онегина, задавался вопросом:

Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом?..

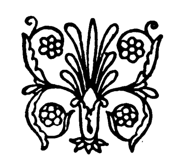
Требуя для писателя и защищая право на беспощадную правду, Лермонтов выражал требование демократии, предъявляемое к искусству: «Наш век гнушается лицемерством. Он громко говорит о своих грехах, но не гордится ими; обнажает свои кровавые раны, а не прячет их под нищенскими лохмотьями притворства. Он знает, что действительное страдание лучше мнимой радости. Для него польза и нравственность только в одной истине, а истина в сущем, т. е. в том, что есть. Задача нашего искусства — не представлять события в повести, романе или драме, сообразно с *предположенною заранее целью,* но развить их сообразно с *законами разумной необходимости.* И в таком случае, каково бы ни было содержание поэтического произведения, его впечатление на душу читателя будет благодатью и, следовательно, нравственная цель достигается сама собою» [1].

Совпадение взглядов Белинского на отношение искусства к действительности (впоследствии развитых Н. Г. Чернышевским в его «Эстетических отношениях искусства к действительности») со взглядами Лермонтова заставило критика высоко оценить «Предисловие» в рецензии на 2-е издание романа: «Лермонтов в высшей степени обладает тем, что

[1] Белинский, Герой нашего времени, «Отечественные Записки» № 6, 1840. Прочтя знаменитую статью Белинского о романе Лермонтова, декабрист В. К. Кюхельбекер писал в своем сибирском дневнике: «Примечательнее всего тут мне показался разбор Лермонтова романа: «Герой нашего времени». Разбор сам по себе хорош, хотя и не без ложных взглядов на вещи, а роман, вариация на пушкинскую сцену из «Фауста», обличает... огромное дарование, хотя и односторонность автора. Несмотря на эту односторонность, я, судя уже и по рецензии, принужден поставить Лермонтова выше Марлинского и Сенковского, а это люди, право — недюжинные. Итак, матушка Россия, — поздравляю тебя с человеком!» (запись от 5 февраля 1841 года). Через два года, прочитав самый роман, Кюхельбекер сохранил то же впечатление: «Лермонтова роман — создание мощной души: эпизод «Мэри» особенно хорош в художественном отношении; Грушницкому цены нет, — такая истина в этом лице; хорош в своем роде и доктор; и против женщин нечего говорить... а все-таки! Все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин» (запись 8 августа 1843 года, «Дневник В. К. Кюхельбекера», изд. «Прибой». Л., 1929, стр. 271, 291).

называется «слогом». Под «слогом» мы разумеем... умение писателя употреблять слова в их настоящем значении, выражаясь сжато, высказывать много, быть кратким в многословии и плодовитым в краткости, тесно сливать идею с формою, на все налагать оригинальную самобытную печать своей личности, своего духа. Предисловие Лермонтова может служить лучшим примером того, что значит «иметь слог». Выписав все предисловие, великий критик-демократ восклицает: «Какая точность и определенность в каждом слове, как на месте и как незаменимо другим каждое слово! Какая сжатость, краткость и вместе с тем многозначительность! Читая эти строки, читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь стать многоречивым». Белинский давал понять, что предисловие Лермонтова написано применительно к цензуре, и что читатель должен вычитать «между строками» основную мысль Лермонтова (и самого Белинского): что если «герой нашего времени» — слаб и ничтожен, то это оттого, что ничтожно то «время», в которое он живет, ничтожно то общество, в котором он вырос. Сам же он, при всем ничтожестве следа, оставленного им в жизни, стоит головой выше своей общественной среды. Он — жертва этой среды, но он — и ее обвинитель, своей глубокой иронией и своим озлобленным умом разоблачающий ее лицемерие и тупость.

19 февраля 1840 г. последовало цензурное разрешение «Героя нашего времени», а 3 мая роман поступил в продажу. В 1841 г., еще при жизни Лермонтова, появилось 2-е издание. В 1843 г. последовало третье. В рецензии на третье, посмертное, издание В. Г. Белинский писал: «Мы не будем хвалить этой книжки: похвалы для нее так же бесполезны, как бесполезна брань. Никто и ничего не помешает ее ходу и расходу — пока не разойдется она до последнего экземпляра: тогда она выйдет четвертым изданием, и так будет продолжаться до тех пор, пока русские будут говорить русским языком».





В РОМАНЕ ЛЕРМОНТОВА

I

ДЕЙСТВИЕ романа происходит на Северном Кавказе, в середине 1830-х годов. Исторический фон, на котором Лермонтов развертывает эпизоды из жизни Печорина — война с горцами. Сам Печорин, как и другие видные действующие лица романа: Грушницкий, Максим Максимыч, безыменный автор «Путевых записок», Вулич и многие другие являются офицерами, непосредственными участниками войны царской России с кавказскими горцами. В повести «Бэла» выведен, с другой стороны, ряд кавказцев-горцев из тех племен, с которыми велась тогда война на Северном Кавказе, — причем в лице Казбича Лермонтов изображает одного из представителей исторически сложившегося типа борца против русских завоевателей—абрека. В той же повести «Бэла» Лермонтов рисует, с одной стороны, жизнь и быт русской крепости на так называемой «Кавказской линии», с другой стороны — горский аул. В повести «Фаталист» изображена казачья станица на той же линии. В «Бэле» и «Максиме Максимыче» находим изображение Военно-Грузинской дороги со всеми особенностями передвижения по ней в немирное время. Небольшой военный порт зарисован Лермонтовым в повести «Тамань». Офицерское общество, отдыхающее и лечащееся «на водах» после военных экспедиций выведено в повести «Княжна Мери». В разговорах действующих лиц романа беспрестанно встречаются рассказы, рассуждения и отзывы

о горских племенах Кавказа, находившихся в состоянии войны с Россией или недавно завоеванных ею. В романе разбросаны там и тут сведения о жизни, национальных особенностях и воинских свойствах черкесов, чеченцев, кабардинцев, осетин, шапсугов, сведения о так называемых «мирных горцах», об абреках и т. д.

Для понимания жизненной обстановки, в которой происходит действие романа Лермонтова и среди которой раскрываются все особенности характера Печорина, необходимо сопоставить те черты и контуры, через которые историческая действительность (Северный Кавказ 1830-х годов) проступает в романе Лермонтова, с подлинной действительностью.

Еще Петр I начал завоевание берегов Черного и Каспийского морей, стремясь присоединить к России богатые земли Кавказа.

В 1801 г., при Александре I, изнуряемая опустошительными набегами со стороны правителей Турции и Ирана, присоединилась к России Грузия, за нею последовали Мингрелия (1803) и Имеретия (1804). При Александре же I перешел под власть России Азербайджан, при Николае I присоединена была Армения, и таким образом «закрепила царская Россия свое господство в Закавказье. Высокие Кавказские горы отделяли новые владения от остальной России. В этих горах жили воинственные горцы. Их никто не мог подчинить»[1].

Устраивая и обеспечивая пути в новые закавказские владения, царская Россия неминуемо должна была вступить в борьбу с горскими племенами, через земли которых проходили эти пути. «Скрываясь в ущельях и лесах, прекрасно зная родные горные места, свободолюбивые горцы упорно боролись за независимость и шаг за шагом защищали свою землю»[1].

Война царской России с кавказскими горцами длилась свыше 60 лет, потребовав неисчислимых жертв, и закончилась победой русских войск лишь в 1864 г.

Особой напряженностью отличалось наступление царской России на горцев в 1816—1827 гг. Тогда «главнокомандующим Грузией» и командующим войсками на Кавказе был известный боевой генерал, участник суворовского похода в Италию и войны 1812 года, Алексей Петрович Ермолов (1772—1861), «бешеный шайтан», как прозвали его горцы.

---

[1] См. «Краткий курс истории СССР», под ред. проф. А. В. Шестакова, М. 1938, стр. 89.

«При Ермолове», «при Алексее Петровиче» (ср. подобные выражения в устах Максима Максимыча) — это было, с точки зрения кавказского офицерства, эпохой наибольших успехов русского завоевания. В 1830-х годах, когда происходит действие «Героя нашего времени», успех русского наступления в глубь Кавказских гор был сильно приостановлен, а кое-где и парализован удачными действиями горцев, объединившихся для отпора царской России в начале десятилетия вокруг Гази Мухаммед, а с середины десятилетия вокруг знаменитого Шамиля, который сумел сплотить горские племена для 25-летней планомерной и часто победоносной борьбы с русскими войсками. Вполне понятно, что в 1830-х годах в русской офицерской среде «ермоловская эпоха» вспоминалась, как вожделенное время военных успехов.



Черкес.
(С картины М. Ю. Лермонтова.)

Ермоловский план покорения Кавказа требовал неуклонного внедрения в глубину страны, но с продвижением вперед лишь после прочного «замирения» местностей и народностей. Ермолов энергично проводил «Кавказскую линию», которая цепью крепостей, казачьих станиц, укреплений, кордонов и сторожевых постов должна была соединить Черное море с Каспийским; пройдя по берегам рек Кубани, Лабы, Малки, Терека, Сунжи, она должна была сжать огнем наступления все племена Кавказа. «Замирение» Кавказа Ермолов начал в 1818 г. с Чечни — на восточном фланге создаваемой им линии. Против горских племен Ермолов применял военный террор. «Прежде всего он созвал старшин надтеречных чеченцев и заявил им, что если они через свои владения пропустят хищников, то их аманаты (заложники. — *С. Д.*) все до одного будут повешены. «Мне не нужны мирные

мошенники, — выбирайте любое — покорность или ужасное истребление»[1].

Декабрист Н. И. Лорер рассказывает о встрече с последователем ермоловской системы покорения Кавказа, генералом Зассом: «Я заметил ему, что мне не нравится система войны, и он мне тогда же отвечал: «Россия хочет покорить Кавказ во что бы то ни стало. С народами, нашими неприятелями, чем взять, как не страхом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и А. П. Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сожигая аулы, только этим и успевал более нашего. Еще до сих пор имя его с трепетом произносится в горах, и им пугают маленьких детей». В поддержание проповедуемой Зассом идеи страха, на нарочно насыпанном кургане у Прочного Окопа, при Зассе, постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их развевались по ветру. Грустно было смотреть на это отвратительное зрелище»[2]. Ермоловские приемы покорения Кавказа вызывали одобрение не только в военно-дворянских кругах 1820—1830-х годов, но и в представителе либеральной буржуазии, Н. А. Полевом, печатавшем в своем «Московском Телеграфе» утверждение такого рода: «Только инстинктом страха кровожадные звери могут содержимы быть в повиновении... В скалах Кавказа дикий хохот и смертное хрипение душимой жертвы были бы ответом на филантропические восклицания»[3].

Противоположные голоса раздавались в 1830-х годах редко и слабо. К голосам Лорера и Пушкина, говорившего в «Путешествии в Арзрум» о необходимости внести в горы начатки просвещения и культуры, можно присоединить голос декабриста барона А. Е. Розена, тянувшего на Кавказе лямку солдата и приравнивавшего ермоловские военно-административные методы к методам завоевателей, истреблявших население Средней и Южной Америки. «Мы подражали прежнему старинному образу действий: как Пизарро и Кортес, перенесли мы на Кавказ только оружие и страх, сделали врагов еще более дикими и воинственными, вместо того, чтобы приманить их в завоеванные равнины и к берегам рек различными выгодами, цветущими поселениями»[4]. Эти отдельные голоса протеста тонули в одноголосице дворянско-

---

[1] Проф. Ковалевский П. И., Кавказ, История завоевания Кавказа, т. II, изд. 3-е, П. 1915, стр. 153.

[2] Из записок Лорера Н. И., Служба на Кавказе, «Русский архив», кн. 2-я, 1874, стр. 670—671.

[3] «Московский Телеграф» № 15. 1833. стр. 337.

[4] Розен А. Е., Записки декабриста, СПБ 1907, стр. 261.



Стычка в горах.
(С картины М. Ю. Лермонтова и Г. Г. Гагарина.)

буржуазного хора, признававшего ермоловский террор единственным верным средством утвердить русское владычество на Кавказе. Кавказ должен быть завоеван и присоединен к России, в 30-х годах это стало неоспоримой истиной для правительства и политически-ведущих классов — дворянства и буржуазии. С развязною откровенностью «штатский» аппетит к Кавказу выражен в «Поездке в Грузию» [1]: «Страна гор, ущелий, дикой свободы, страна развалин древности и витающего невежества, очаровательная, наделенная всеми дарами природы, обильная историческими воспоминаниями Грузия представляет соотечественникам нашим пространное поле деятельности, как чиновникам выгодами службы, так и негоциантам видами прибыльной торговли с сопредельными провинциями Персии и Турции». Подводя итоги 60-летней войне за обладание Кавказом, офицер главного штаба кавказской армии, Ростислав Фадеев, видный военный писатель, писал: «Кавказская армия держит в своих руках ключ от Востока... С Кавказского перешейка Россия может достать

[1] «Московский Телеграф» № 15, 1833, август, стр. 327.

всюду, куда ей будет нужно... Для России Кавказский перешеек — вместе и мост, переброшенный с русского берега в сердце азиатского материка, и стена, которою заставлена Средняя Азия от враждебного влияния, и передовое укрепление, защищающее оба моря: Черное и Каспийское» [1].

Давая исчерпывающую характеристику той глубоко реакционной, насильнической роли, которую играла царская дворянско-капиталистическая Россия в истории, И. В. Сталин говорил в своих лекциях «Об основах ленинизма» (1924):

«Царская Россия была очагом всякого рода гнета — и капиталистического, и колониального, и военного, — взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Кому не известно, что в России всесилие капитала сливалось с деспотизмом царизма, агрессивность русского национализма — с палачеством царизма в отношении нерусских народов, эксплоатация целых районов — Турции, Персии, Китая — с захватом этих районов царизмом, с войной за захват? Ленин был прав, говоря, что царизм есть «военно-феодальный империализм». Царизм был средоточием наиболее отрицательных сторон империализма, возведенных в квадрат» [2].

Из этой замечательной ленинско-сталинской характеристики становится особенно ясен насильнический характер русского колониального натиска на Азию и в особенности на Кавказ и прилегающие страны.

Генерал Ермолов, правивший Кавказом в 1816—1827 гг., явился ранним и наиболее прямым проводником жестокого напора на вольный Кавказ, продиктованным русским царизмом.

Внедряясь в глубину Кавказа, сталкиваясь с многочисленными его народами, царская Россия, ни в какой мере не считаясь с особенностями их истории, национальности и культуры, стремилась превратить их в безликую, планомерно эксплоатируемую человеческую массу колониальных владений.

Говоря о положении национальностей в царской России и называя, в числе других народов, группу горцев Северного Кавказа: чеченцев, кабардинцев, осетин, черкесов, ингушей, карачаевцев и балкарцев, И. В. Сталин пишет: «Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по отношению к этим народам состояла в том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их культуру,

---

[1] Фадеев Р., 60 лет Кавказской войны, В воен.-поход. типогр. Гл. Штаба Кавк. Армии, Тифлис 1860, стр. 10, 15.

[2] Сталин И. В., Вопросы ленинизма, изд. 10-е, Партиздат, 1934, стр. 4.



Воспоминание о Кавказе.

(С картины М. Ю. Лермонтова.)

стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, по возможности руссифицировать их. Результаты такой политики — неразвитость и политическая отсталость этих народов» [1].

Сообразно с этими установками царской политики на Кавказе, в среде русского офицерства было распространено отношение к горским народам, как к дикарям, стоящим или вне культуры, или на самых низших ее ступенях.

Лермонтов, исторически верно наделив своего Максима Максимыча безоговорочным восхищением перед Ермоловым, столь же верно заставил его высказывать отношение к туземцам Кавказа, свойственное «ермоловцам». У русского штабс-капитана находится только одно общее определение для всех великих и малых народностей завоевываемого Кавказа: «ужасные бестии все эти азиатцы». По упрощенной квалификации Максима Максимыча, все туземцы Кавказа

---

[1] Сталин И. В., Марксизм и национально-колониальный вопрос, Партиздат, 1937, стр. 69—70, статья «Об очередных задачах партии в национальном вопросе».

разделяются на «преглупый народ» и на «разбойников»; к первым, для примера, принадлежат осетины, ко вторым — кабардинцы. Но те и другие — одинаково — «плуты» и «мошенники».

В повести «Бэла» в описании бедного жилища и скудного быта осетин, делаемого офицером, автором записок, и особенно в суждениях об осетинах Максима Максимыча сквозит отзвук того приговора к небытию, который выносила народностям Кавказа надменность новых колониальных завоевателей. Гвардеец-повествователь со своим отзывом об осетинах: «жалкие люди!» лишь немногим уступает решительному приговору армейского штабс-капитана над целой народностью: «Преглупый народ! ничего не умеют, неспособны ни к какому образованию».

Отзыв Максима Максимыча — это групповой отзыв колониальных завоевателей. Вот что читаем у современного Лермонтову путешественника, писавшего в либеральном журнале:

«Множество осетинцев встретило нас за версту от крепости (Владикавказа. — *С. Д.*) с предложением найма лошадей до зава́ла, до Тифлиса и проч. Можно бы порадоваться возбужденной промышленности в полудиком народе, но взгляд на неопрятную их бедность возбуждает мысль, что причиною их торопливости выискивать легчайший труд, в надежде получить большую плату, есть отвращение от трудолюбия, лень — остаток прежней буйной их жизни» [1].

Схожий отзыв об осетинах встречаем у другого современника: «Живущие под снеговыми вершинами отличаются свирепостью и разбоем. Жители северной стороны Кавказа... несколько мирнее». Однако автор находит уже и некоторое историко-географическое оправдание для «лености» и «хищности» осетин: «Осетия... образована из узких ущелий между высокими горами... Бедность и недостаточность в самых необходимых потребностях жизни, как напр. в соли, принуждают их к насилию» [2].

Военный историк, писавший в 1870-х годах, вынужден уже признать полностью чуть намеченные здесь причины нищеты и забитости осетин:

«Заключенные в своих ущельях, выходы из которых были заперты, осетины были отрезаны от всего мира и одичали... Малая производительность почвы большей частью горной Осетии довела население до крайней бедности. Осетины

---

[1] «Московский Телеграф» № 15, 1833, стр. 351.

[2] Херсонец, Гори, древняя столица Карталинии, «Московский Телеграф» № 16, 1833, стр. 507—508.



Замок Тамары.
(С картины М. Ю. Лермонтова.)

всегда терпели недостаток не только в соли, но даже и в насущном хлебе... Осетины бедны, почти голы или до последней степени плохо одеты; живут в землянках или развалившихся башнях. Всеобщая бедность царствует между осетинами». И, «несмотря на бедность», русский генерал — историк 1870-х годов — вынужден возразить русским офицерам 1830-х годов: «осетин всегда весел», а не рабски уныл [1].

Однако и в 1870-х годах историк русской военной колонизации Кавказа «забывает» прибавить, какую долю угнетения и нищеты внесло в исторический жребий осетинского народа именно русское завоевание. Что «жалкость» и «глупость» осетин «присочинены» завоевательской близорукостью лермонтовских офицеров, явствует из сличения их отзывов с отзывом Пушкина («Путешествие в Арзрум», 1829), наблюдавшего осетин в ту же пору: «Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их *прекрасны*... У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного

[1] Дубровин Н., История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, Очерк Кавказа и народов, его населяющих, кн. 1-я, Кавказ, СПБ 1871, стр. 284—287.

осетинца. Они несли ему обед. Обе казались *спокойны и смелы*». В 1829 г. Пушкин, проезжавший в тех же местах, где путешествовал Максим Максимыч, писал: «Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими плещет Терек с яростью неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: «не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы».

Из приведенного отрывка из «Путешествия» Пушкина явствует, что и в 1830-х годах осетины не прекращали борьбы с русскими завоевателями, подвергая обстрелам и нападениям Военно-Грузинскую дорогу. Все это резко противоречит уверениям лермонтовского штабс-капитана, что у рабских осетин «и к оружию никакой охоты нет». Насколько справедлив оказался другой его приговор, что осетины «не способны ни к какому образованию», явствует из того, что в автономной (с 1924 г.) Северной Осетии к 1934 году была достигнута сплошная грамотность: всеобщее обучение введено в 1930 г., причем 60% педагогов — осетины. В области имеются 4 вуза, 2 научно-исследовательских института, 7 рабфаков, 8 техникумов и издается 12 газет (из них лишь одна на русском языке). Все это достигнуто при советской власти: в 1913 г. в Осетии было лишь 12% грамотных и лишь несколько начальных школ [1].

5 июля 1937 г. на Чрезвычайном VII съезде Советов в Северной Осетии была утверждена Конституция Северо-Осетинской АССР и установлено обязательное семилетнее образование [2].

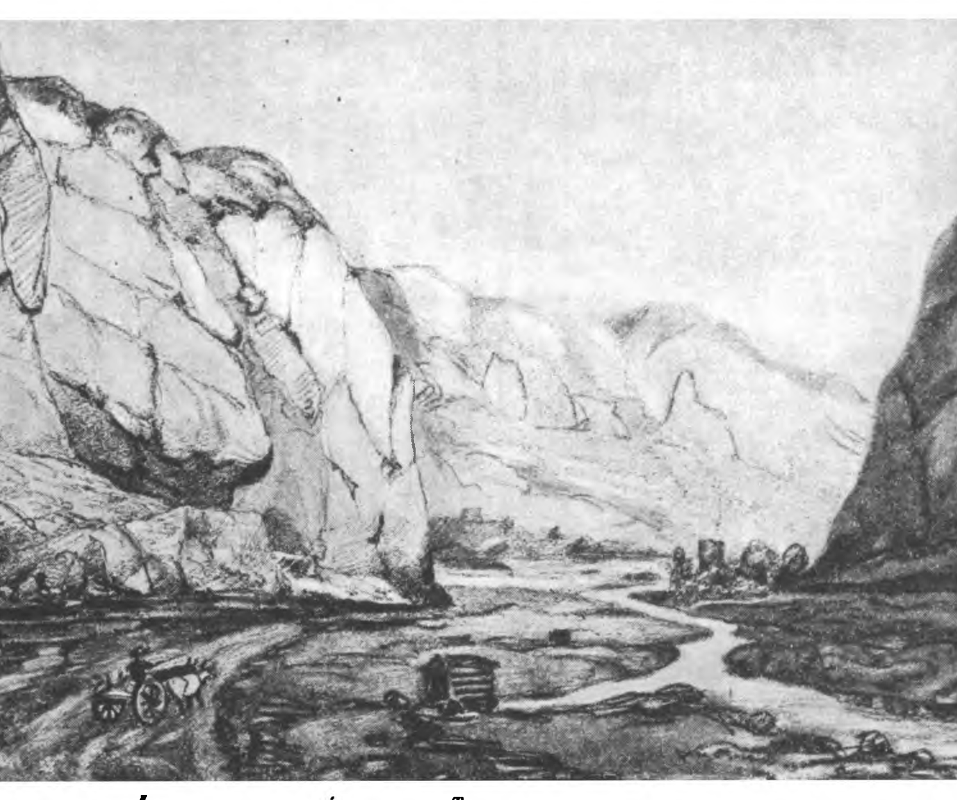
С презрением отзываясь об осетинах, лермонтовский штабс-капитан, скрепя сердце, вынужден признать военную доблесть за некоторыми другими горскими народами, во всем остальном приравнивая их к тем же осетинам, обреченным, по его мнению, на историческое небытие: «Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки».

---

[1] «Известия ВЦИК» № 192, 1934.

По классификации Н. Я. Марра осетины принадлежат к среднекавказской, а именно к восточной группе яфетидов. Марр Н. Я., Племенной состав населения Кавказа. Труды комис. по изучению плем. состава населения России, т. III, П. 1920, стр. 44.

[2] См. «Известия» № 158, 1937.



Дарьяльское ущелье с замком Тамары. (С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

Этот отзыв Максима Максимыча о *боевых* качествах кабардинцев сходен с отзывом, вложенным Лермонтовым в уста типового кавказского офицера в очерке «Кавказец»: «О горцах он вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну, есть и между шапсугами народ изрядный, только все с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхами проехать, хотя и чисто живут, очень чисто» [1].

Во всех записках о кавказских войнах кабардинцев хвалят за их храбрость и за изящество и даже роскошь их воинского наряда. Принадлежа по классификации Н. Я. Марра [2] к «западному (адигейскому) ответвлению северо-кавказских яфетидов», кабардинцы, населявшие большую и малую Кабарду (по рр. Малке и среднему Тереку), представляли самое многочисленное и воинственное из горских племен Северного Кавказа, державшее в зависимости своих соседей — осетин, ингушей, абазинцев и пр. Для своих горских соплеменников и соседей, а также для терских казаков, кабардинцы являлись законодателями в деле вооружения и одежды, верховой езды, воинских наезднических приемов и т. п. Яркий образ удалого кабардинца Лермонтов дал в «Дарах Терека» (1839).

Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных:
Из корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови
И усов его края
Обагрила алой крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною космой.

В наши дни кабардинцы объединены в автономную Кабардино-Балкарскую область, получившую в 1934 г. орден Ленина за первенство в соревновании автономных республик, областей и краев в деле экономического и культурного строительства.

---

[1] «Минувшие дни» № 4, 1928, стр. 23.

[2] «Племенной состав населения Кавказа», Рос. Академия Наук, Труды комиссии по изучению племенного состава населения России, т. III, П. 1920, стр. 45.



Развалины на берегу Арагвы.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

Но все признания за горцами храбрости, не могут истребить в кавказском офицере следов его основного воззрения на противников, как на какое-то отребье человечества, — и тот же Максим Максимыч, признающий военную доблесть за кабардинцами, произносит такое суждение о черкесах, под которым он разумеет вообще горцев: «Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть: другое и не нужно, а все украдет...»

Отзыв штабс-капитана — о самодовлеющем «воровстве» «черкесов» — опять типичный групповой отзыв из стана завоевателей: опорочивание целой народности — сознательный прием борьбы с ней. Образец подобного опорочивающего приговора находим в цитированной «Поездке в Грузию»: «Черкес имеет всю жестокость кровожадного зверя, превосходя его в лукавстве. Неголодный тигр не бросается на человека; он ищет скрыться от врага, которого ненавидит; черкес напротив: он нападает внезапно, грабит все, что найдет на пленнике, и, если пленник не представляет никаких видов его алчности, т. е. не может предложить ему большой

цены за свой выкуп, или не может работать в ауле, черкес убивает его, не взирая на пол и возраст. Умерщвляет ли тигр из одного удовольствия умертвить? Только черкес способен на бесполезное злодеяние»[1].

В подобных отзывах и суждениях русских военно-дворянских и буржуазных кругов содержался тот обвинительный «приговор» горским народностям, который как бы уполномачивал завоевателей присуждать к «наказанию» целые народности Кавказа.

В числе присужденных к этому «наказанию» истреблением были и чеченцы, которых Максим Максимыч обзывает «разбойниками, голышами», хотя и не может не признать их мужества и храбрости («отчаянные башки»). Однако история отменила этот приговор.

«Пять лет тому назад, 15 января 1934 г., две народности Кавказа — чеченцы и ингуши, родственные по своему языку, культуре и быту, объединились в одну автономную Чечено-Ингушскую область. 5 декабря 1936 г. область была преобразована в Автономную советскую социалистическую республику. История Чечено-Ингушетии — это десятилетия кровавой борьбы свободолюбивого народа против колонизаторов и национальной буржуазии, являвшейся опорой царизма.

Неузнаваемой стала Чечено-Ингушетия за годы советской власти.

За колхозами республики государственными актами закреплено на вечное пользование свыше 400 тысяч гектаров земель. 92,7 процента крестьянских хозяйств объединены в колхозы.

Создана крупная нефтяная промышленность... Заново создана пищевая, легкая, химическая и местная промышленность.

Под солнцем Сталинской Конституции пышно расцвела национальная по форме и социалистическая по содержанию культура чечено-ингушского народа. До революции в Чечено-Ингушетии было 3 школы. Сейчас в 342 начальных и средних школах обучается более 118 тысяч детей. Высшие учебные заведения, техникумы, рабфаки ежегодно готовят сотни инженеров, техников, учителей и др.»[2].

То просвещение, о котором Пушкин мог лишь мечтать для кавказских горцев, пришло к ним с водворением советской власти на Кавказе. С 1917 г. началась новая эра в жизни горских народов, о которых писал Лермонтов.

---

[1] «Московский Телеграф» № 15, 1833, стр. 336.

[2] «Известия» № 12, от 15 января 1939 г.

II

Где происходит действие «Бэлы»? К какому горскому племени принадлежат Бэла, Азамат, Казбич?

На прямой вопрос офицера-путешественника Максиму Максимычу: — «А вы долго были в Чечне?» — он получает утвердительный ответ: «Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою у Каменного брода».

Другое признание того же штабс-капитана: «Я тогда стоял в крепости за Тереком» указывает на *левый* восточный фланг Кавказской линии, на Чечню: крепость «за Тереком» могла быть только на Сунженской линии или еще южнее в глубь Чечни. Это местоопределение подтверждают слова Печорина Бэле: «Разве ты любишь какого-нибудь *чеченца? Е*сли так, я тебя сейчас отпущу *домой*», т. е. к чеченцам же, так как родной дом Бэлы находился всего «верстах в шести от крепости». Сама Бэла, беспокоясь об ушедшем на охоту Печорине, опасается, что его «чеченец утащил в горы». Что действие «Бэлы» происходит именно в Чечне, на Сунженской линии, явствует и из жалобы Азамата, брата Бэлы: «Мой отец боится русских и не пускает меня в *горы*» — явный знак, что аул отца Азамата расположен в предгорьях Чечни, а мальчик стремится в вольный горный Дагестан, к Шамилю, вождю, объединившему горцев против русских. Все туземцы, герои «Бэлы», рассказывают о своей жизни, как о жизни чеченцев.

Один Максим Максимыч описывает происшествие в доме отца Бэлы, как случай у «*черкесов*», и на одно суждение Печорина о Бэле возражает: «вы *черкешенок* не знаете».

Между тем, черкесские племена жили не «за Тереком», а за Кубанью, не на левом, восточном, а на правом, западном, фланге Кавказской линии, — и *географическое* указание штабс-капитана резко противоречит его же *этнографическому* указанию.

Противоречие это разрешается тем, что под «черкесами» в обычном словоупотреблении 1820—1830-х годов, зачастую разумелись *все вообще горцы* Северного Кавказа, с которыми шла война, как под «татарами» подразумевались все вообще кавказцы мусульманского вероисповедания. В этом смысле и Печорин, верно определяющий, — как было указано, — национальность чеченки Бэлы, называет «черкешенками» обитательниц ее же родного аула.

Чеченцы, принадлежащие к «срединному, материковому

ответвлению северо-кавказских яфетидов»[1], занимали до войны с русскими пространство между рр. Аксаем, Сунжей и восточной частью Кавказского хребта. Сунжа разделяет Чечню на Большую и Малую. Чечня, благодаря тучной почве, была житницей северного склона Кавказского хребта: продовольствие горских племен Восточного Кавказа (Дагестана) зависело от урожая на чеченских предгорьях. Еще до прибытия Ермолова на Кавказ делались попытки оттеснить чеченцев с плодородных предгорий в бесплодные горы, захватывая их земли под казачью колонизацию. Ермолов с 1818 г. повел последовательное наступление на Чечню; усиливая старую кордонную линию крепостей и казачьих станиц по Тереку, он добился перенесения «оборонительной (на деле: наступательной. — *С. Д.*) линии с Терека на р. Сунжу, причем все пахотные земли и пастбища вместе с мирными аулами переходили к русским»[2]. Чеченцы, очутившиеся в западне крепостей и станиц между Тереком и Сунжей, должны были поневоле признать власть русских, превратившись в так называемых «мирных». Но борьба с вольной Чечней продолжалась. В 1826 г. Ермолов предпринял несколько экспедиций в глубь Чечни: производилась усиленная вырубка лесов, проводились просеки, прокладывались новые дороги, стирались с лица земли непокорные аулы. Чеченцам приходилось отступать в горные области, где земледелие почти невозможно: русская власть, согнавшая чеченцев с плодородных мест, подвергала голодной блокаде весь Дагестан.

Служба Максима Максимыча проходила в линейном пехотном батальоне, стоявшем в одной из крепостей по Сунженской укрепленной линии, в самое оживленное время борьбы Ермолова с чеченцами. Их храбрость и упорное мужество в борьбе с русскими вынуждают старого боевого офицера, при всем его презрении к «азиатам» и «голышам», на сочувственный отзыв: «головорезы», «молодцы». «Нынче, слава богу, смирнее», — говорит штабс-капитан в 1838 г.: послеермоловское десятилетие (1827—1837), действительно, не сопровождалось сколько-нибудь приметными «делами» с чеченцами. Это затишье продолжалось до конца 1839 г. Требование России о поголовной выдаче оружия вызвало крайнее возбуждение среди воинственного чеченского народа. Имам Шамиль, объединив к этому времени горские племена

---

[1] Марр, назв. соч., (примечание на стр. 44).

[2] Ковалевский П. И., Кавказ, т. II, стр. 152.



Горцы на конях.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

Дагестана под своей властью, поднял против России отдельные племена чеченцев и к осени 1840 г. вся Чечня была объята восстанием. М. Ю. Лермонтову пришлось лично участвовать в действиях против чеченцев в Малой и Большой Чечне летом и осенью 1841 г., в том числе в кровопролитном сражении при р. Валерике (11 июля), описанном в послании к В. А. Бахметевой.

Боевым свойствам чеченцев генерал Д. В. Пассек [1], много с ними воевавший, дает такую оценку:

«В Чечне неприятель невидим; но вы можете встретить его за каждым изгородом, кустом, в каждой балке. Только тот кусок земли наш, где стоит отряд; сзади, с боков, везде — неприятель. Наш отряд, как корабль, все разрежет, куда

[1] А. И. Герцен, лично его знавший, писал о нем: «Умер блестяще, окруженный признанием врагов, среди успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову» («Былое и думы», ч. 1-я, гл. V). Пассек был убит горцами 11 июля 1841 г. при наступлении на Дарго.

ни идет, и нигде не оставит следа, где прошел... Чеченцы способны к наезднической войне: они делают быстро внезапные нападения в наши пределы, пользуясь всяким случаем, чтобы напасть врасплох на фуражиров, на обоз, на партии; неутомимо тревожат наши аванпосты и цепи, т. е. ведут партизанскую войну» [1].

Крепость, в которой стояла рота Максима Максимыча и куда был отправлен Печорин после дуэли с Грушницким, — была построена среди недавно покоренного чеченского населения с целью удерживать его в повиновении русским властям и вместе с тем быть опорным пунктом для дальнейшего продвижения в глубь Чечни.

Максим Максимыч повествует: «Верст шесть от крепости жил один мирной князь».

«Мирны́ми» назывались чеченцы, черкесы и другие горцы, признавшие власть русских. Так как присяга горцев на верность русскому правительству всегда была вынуждена силой и никогда не давалась искренно, то твердой границы между «мирны́м» и немирны́м населением в действительности не существовало. Вот каковы были обязанности «мирно́го» туземного населения Чечни, по «приказу» генерала Ермолова: «В случае воровства на Линии селения обязаны выдать вора. Если скроется вор, то выдать его семейство. Если жители осмелятся дать и самому семейству преступника способ к побегу, то обязаны выдать его ближайших родственников. Если не будут выданы родственники, аулы ваши будут разрушены, семейства распроданы в горы, аманаты повешены. Если хищники прорвутся силою и будет доказано, что мирны́е не противились, или противились притворно, то деревни истребляются огнем, жен и детей вырезывают... Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи, нежели в тылу укреплений наших потерплю разбой» [2].

Эти кровавые приказы не достигали цели: «мирно́е» население сливалось с немирны́м. Вот разговор двух кавказских офицеров, наблюдавших чеченцев в Екатеринограде, большом административном центре Линии: «А знаете ли, что большинство этих горцев — немирные и, при первом случае, станут стрелять в нас?.. — Как же позволяют им приезжать сюда?.. — Невозможно отличить их: узнаешь, что немирно́й,

---

[1] «Кавказ и кавказская война», Публич. лекции, читанные в 1860 г. ген. штаба полковником Романовским, СПБ 1860, стр. 372—376.

[2] Ковалевский П. И., Кавказ, т. II, стр. 154.



Иллюстрация к повести А. Марлинского «Амаллат Бек».
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

когда он выстрелит. Никакой контроль в этом невозможен. Если б даже вздумали впускать по билетам, то немирные будут являться с билетами мирных, не говоря уже о том, что такие строгости вредно отозвались бы на торговых и меновых сношениях с горским населением. — Но они могут узнавать все наши секреты по расположению и движению войск. — И узнают, и даже добывают у нас порох и ружейные патроны»[1]. В «Записках декабриста» А. Е. Розена, читаем о «мирных черкесах»: «Этим людям следовало дать всевозможные льготы и выгоды, оставить им пока их суд и расправу, не навязывать им наших судей-исправников... Пока не покорившиеся горцы видят, что покорные нам братья их ведут жизнь не лучше непокорных, до тех пор будут они противиться до последней крайности. В ермоловское время офицеры на Кавказе терпеть не могли мирных черкесов; они ненавидели их хуже враждебных, потому что

[1] Ливенцов М., Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов, «Русское Обозрение» № 8, 1894, стр. 717.

они переходили и изменяли беспрестанно смотря по обстоятельствам, куда их звали страх или корысть или месть»[1].

Лермонтов исторически верно изобразил в «Бэле» трех «мирных» чеченцев. Самый лойяльный из них и, повидимому, действительно, «мирнóй» — «старый князь», отец Бэлы: высший зажиточный слой населения, как всюду и везде, легче всего мирился с чужим владычеством, так как меньше всего страдал от завоевателей, сохранявших за верхним слоем покоренного населения его господство над трудящимся народом. Русская власть, завоевывая Кавказ, стремилась переманить на свою сторону горских князей, ханов и беков, которые, при покорности русским властям, сохраняли свои титулы и владения и получали еще «милости» от царя.

Тем не менее «мирность» и верхнего слоя чеченского народа была вполне вынужденной: «Мой отец боится русских и не пускает меня в горы», — признается Казбичу Азамат, сын «мирнóго князя».

Сам удалец Азамат легко меняет положение «мирнóго» на славное в горах звание «абрека» (см. далее). Казбич — прямой враг русских, только прикрывающийся именем «мирного»: участвуя в набегах на казачьи станицы вместе с «немирными», он, на правах «мирнóго», ведет торговлю с русскими, посещая их крепости.

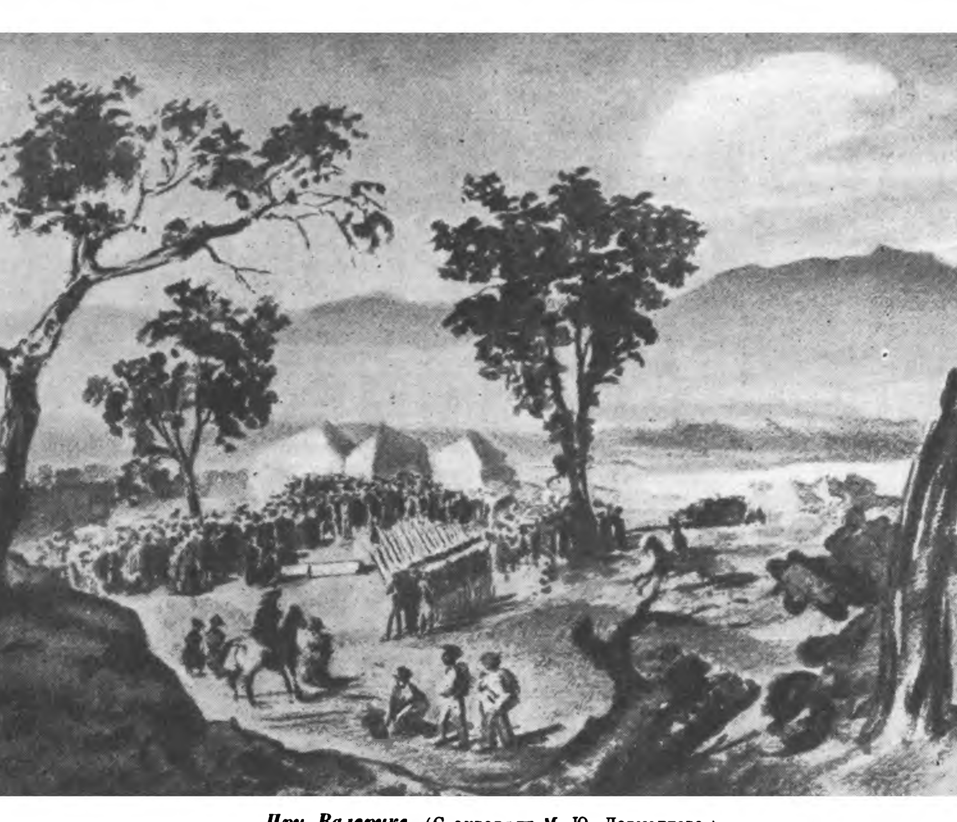
Отца Бэлы Максим Максимыч именует «князем»; сама Бэла с гордостью отзывается о себе: «я — княжеская дочь». Однако настоящих древних феодальных княжеских родов в Чечне не было. Обладая чем-то в роде дворянства, чеченцы представляли собой на деле пример первобытной демократии с остатками родового быта. «Не оспаривая выдуманной родословной, чеченец, пожалуй, расскажет вам происхождение каждой фамилии, но тут же непременно прибавит, что эти фамилии не княжеские и не владельческие, что все чеченцы равны между собой; что все они без различия дворяне, что князей никогда у чеченцев не было и что народ этот никогда и никем не был завоеван»[2].

Лермонтов изображает «старого князя», отца чеченки Бэлы, кунаком русского штабс-капитана Максима Максимыча, начальствующего в крепостце на Сунженской линии. «Мы были с ним кунаки...» — говорит Максим Максимыч.

---

[1] Розен А. Е., Записки декабриста, СПБ 1907, стр. 261—262.

[2] Дубровин Н., История войны и русск. владыч. на Кавказе, т. I, кн. 1-я, стр. 452.



При Валерике. (С акварели М. Ю. Лермонтова.)

Распространенный по всему Кавказу обычай куначества был своего рода страхованием жизни в эпоху нескончаемых племенных междуусобий, когда «каждый черкес, вступив в границы земель чужого ему владения, считался как неприятель или чужеземец. Он подвергался опасности быть убитым, ограбленным или проданным, как невольник, куда-нибудь на отдаленный восток. Чтобы не подвергаться этому, он должен был иметь в чужом обществе влиятельного покровителя — *кунака,* на которого мог бы положиться... Кунак (покровитель) и прибывший под его защиту были тесно связаны между собой и никто не мог обидеть клиента, не подвергаясь неизбежному мщению кунака... Куначество так вкоренилось в народную жизнь, что ни один черкес не считал возможным обойтись без кунака, который бы мог его выручить из беды в случае ссоры, драки, убийства и воровства. Кунаком, конечно, мог быть только князь или владетельный дворянин, словом, такое лицо, которого имя и влияние имели вес в горах... Каждый иностранец, без различия происхождения и веры, имевший влиятельного кунака в одном из черкесских обществ, был совершенно безопасен» [1].

Из покровительства кунакам-иностранцам исключались русские: как враги всего народа они находились под общим кровомщением. Однако по мере развития вольных и невольных сношений с русскими, куначество, особенно тайное, стало возможно и для русских. Многие русские офицеры (в их числе Лермонтов) куначествовали с горцами, уважая взаимную воинскую доблесть. В большинстве же случаев, под «куначеством» с русскими разумелся простой обычай гостеприимства и охраны личности гостя, — обычай, свято чтимый всеми горцами. В этом смысле, на Кавказе «каждый без различия имел право давать кров и приют (droit d'asile) своим единоземцам и оказывать покровительство иноплеменному гостю. В этом случае, хозяин, как кунак, ручается перед гостем за его безопасность, а перед своими за его проступок» [2].

В поэме «Измаил-бей» (1832) Лермонтов дал яркий пример закона гостеприимства, изобразив ночную встречу в горах Измаила с русским офицером, подошедшим к его костру.

---

[1] Дубровин Н., История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 1-я, СПБ 1871, стр. 78—79, см. также т. I, кн. 2-я, стр. 44—45.

[2] Люлье Л., О натухайцах, шапсугах и абадзехах, «Записки Кавказск. отделения русск. географ. общества», кн. 4-я, Тифлис, 1857, стр. 236.



Нападение горцев на русское укрепление.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

На вопрос Измаила: «Чего ты хочешь от меня?» — офицер опирается на закон гостеприимства:

«Гостеприимства и защиты»,
Пришлец бесстрашно отвечал:
«Свой путь в горах я потерял,
Черкесы вслед за мной спешили
И казаков моих убили,
И верный конь под мною пал.
Спасти, убить врага ночнова
Равно ты можешь! не боюсь
Я смерти: грудь моя готова,
Твоей я чести предаюсь!»
— Ты прав: на честь мою надейся!
Вот мой огонь: садись и грейся, —

отвечает ему Измаил; верный закону гостеприимства, он, несмотря на то, что узнает в офицере не только неприятеля своего народа, но и личного своего врага, дает ему ночной приют и по-утру отпускает его невредимым. Получив свое содержание от широко распространенного горского обычая гостеприимства, слово «кунак» приобрело значение — приятель, добрый знакомый; в этом смысле его употребляет Максим Максимыч, называя «кунаком» и «старого князя»,

и Казбича. Приятельства русского офицерства с «мирными» черкесами и чеченцами, как бытового явления, Лермонтов коснулся в очерке «Кавказец»: «Он подружился с одним мирным черкесом, стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный, и какой плут, кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легко маракует по-татарски» [1]. Максим Максимыч оказывается именно таким «кавказцем». Он — кунак и «князю надежному», отцу Бэлы, и абреку, числящемуся в «мирных», Казбичу. Такое куначество, — попросту, поддерживание добрых отношений, — с различными элементами окружающего туземного населения было политически правильным приемом начальника гарнизона маленькой крепостцы, каким был Максим Максимыч. Так объясняет куначество и корреспондент «Московского Телеграфа»:

«Мы пишем почти каждому коротко знакомому: любезный друг, здешние черкесы, встретившись с человеком, которому продали вчера на 5 рублей, говорят: здорово, кунак. Знаю, да и всякий это знает, что слово «друг» у нас давно уж употребляется не в настоящем своем значении; но не знаю того, давно ли черкесы сделали из своего кунака такое же употребление» [2].

В обязанности местных представителей русской власти входил, под видом подарков кунакам, постоянный подкуп местных горских верхов всевозможными подарками.

При посещении старого князя, русских офицеров как почетных гостей проводят «со всеми почестями» в «кунацкую», особую горницу для приема гостей. «Сидят и спят в ней на земле, на камышовых цыновках, на коврах, на подушках и тюфяках, составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних принадлежностей. В кунацкой всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умывания... Кушанья подают на низких круглых столиках» [3].

---

[1] «Минувшие годы» № 4, 1928, стр. 23.

[2] Письма с Кавказа, «Московский Телеграф» № 11, 1830, июнь, стр. 188—189.

[3] Торнау, Воспоминания кавказского офицера 1835—1838 гг., ч. 1-я, М. 1864, стр. 80.

Описывая свадьбу в доме старого князя, на которую были приглашены русские офицеры, Лермонтов не дает точного и последовательного этнографического описания чеченской свадьбы.

Длительный и сложный обряд ее он, ради художественной выразительности и экономии, весь умещает в один день, но притом не забывает ни об одном существенном элементе обряда, хотя делает ту основную ошибку, что свадьбу заставляет справлять в доме невесты, тогда как она справлялась у чеченцев в доме жениха. «Обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу», действительно был широко укоренен в Чечне: поезжане свадебного поезда захватывали в дом жениха всех, встретившихся на пути. Роль муллы в чеченской свадьбе была именно так скромна, как отметил Лермонтов; но свадьба не начиналась с него; лишь на четвертый день «мулла приступает к обряду венчания. Он состоит в чтении определенных молитв, слова которых должен повторять вслух жених». Угощенье бузой (кумыкское название хмельного пива из пшена, по-чеченски — не́хэ) характерно именно для мирных аулов, не строгих, благодаря общению с русскими, в соблюдении магометанской заповеди воздержания от опьяняющих напитков: «у немирных ничего этого нет» [1]. Джигитовка, которой в чеченском свадебном обряде сопровождался привоз невесты в дом жениха, была одной из любимых забав воинственных горцев. В ней джигиты (удальцы-наездники) выказывали свою ловкость и удаль: «Наездники хватают шапки со своих товарищей, скачут вперед, те их догоняют; но вот шапка брошена вверх, раздались со всех сторон выстрелы и шапка уже более никуда не годится. Двадцать, иногда тридцать всадников бешено носятся по полю, показывая свою ловкость и смелость; на всем скаку они поднимают с земли разные вещи и своими грациозными движениями привлекают взоры молодых красавиц» [2]. Описывая исполнение песни под трехструнную чеченскую балалайку, очевидец сообщает: «чеченец не пел, а только говорил в тон балалайке. Это было вроде нашего речитатива» [3]. Содержанием этих речитативов, произносимых под музыку в кунацкой, бывали подвиги героев-батырей, но тут же слагались и импровизации на тему дня.

---

[1] «Дневник русского солдата, бывшего 10 месяцев в плену у чеченцев», «Библиотека для чтения», т. LXXXVIII, 1848, стр. 76.

[2] Дубровин Н., История войны и русского владычества на Кавказе, т. I, кн. 1-я, стр. 147 и след.

[3] Семенов Н., Туземцы сев.-вост. Кавказа, СПБ 1905, стр. 67.

Появление «младшей дочери хозяина» — Бэлы — с приветствием русским гостям было знаком особого почета к ним. «Если гость был родственник или особо уважаемое почетное лицо, то к нему приходила дочь хозяина, а за нею приносилось блюдо с сушеными плодами и разными овощами. В некоторых обществах существовало обыкновение или патриархальный обычай, по которому дочь хозяина должна была умыть ноги странника» [1].

III

Особое место в повести «Бэла» занимает Казбич. Вот как изображает его Максим Максимыч: «Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен... Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изодранный, в заплатках, а оружие в серебре».

Таков Казбич (Kazbək) — абрек — в характеристике русского офицера с передовой военной Линии. В 1830-х годах люди из дворянских и буржуазных кругов, приветствовавшие захват Кавказа и Закавказья, делают решительную попытку оспорить правдивость романтического изображения черкесов, как «сынов вольности» (Пушкин, Марлинский, юноша Лермонтов), и утверждают, что черкесы — «низшая раса», враждебная культуре и цивилизации. В «Московском Телеграфе» читаем [2]: «Поэтически украшенные описания черкесов и черкесского быта дают им занимательность, между тем как наружный вид первых, и отвратительное, возмущающее изображение последнего — обвиняют поэзию в тяжкой лжи!.. Желаете ли вы иметь прозаическое описание черкесов? Вот оно: необузданная алчность к корысти; отсутствие малейшего образования; дикая остервенелость, заменяющая храбрость; умеренность в пище; высочайшее терпение в достижении к преступной цели — кровавой добыче; сила, лукавство, мстительность, подлость — это нравственные и телесные качества сего вероломного народа! Человеческого он

---

[1] Дубровин Н., История войны и русск. владычества на Кавказе, т. I, кн. 1-я, стр. 72. См. также стр. 143—147, 431—432.

[2] «Московский Телеграф» № 15, 1833.



Два горца у реки.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

сохранил только наружность... Черкес человек, но полудикий — и он сильнее человека, взятого в образованном обществе: опасное преимущество, когда оно может употребляться во зло!» Этому внутреннему облику черкеса соответствует, в изображении сторонников превращения Кавказа в русскую колонию, его внешний облик: «Синевато-желтая бледность тощего лица, обросшего черною, густою щетиною; омертвелые губы; отверстый, иссохший, сгорающий рот... Это зверское лицо в половину закрыто... гнусной формы шапкою... Серый изорванный кафтан черкесского покроя совсем не имел той щеголеватости, какую мы стараемся придать ему. Икры ног, обтянутые какою-то кожею, давали ему сходство с сатиром... Вот вам прозою представленное изображение черкеса, врага гнусного и страшного, возбуждающего и презрение и ненависть видом своим, напоминающим олицетворенное злодеяние, многократно прощенное и беспрерывно повторяемое, несмотря на клятвы, присягу, обещания, залоги и наказание» [1].

Облик черкеса, рисуемый в журнале Полевого, вполне соответствует облику абрека Казбича в наброске Максима

[1] «Московский Телеграф» № 15, 1833, «Поездка в Грузию», стр. 335—337.

Максимыча. В точном соответствии с зарисовкой Максима Максимыча определял абрека и другой офицер-кавказец, Л. Н. Толстой: «Абреком называется немирнóй чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека»[1]. Абрек — вор, разбойник, преступник. Таково определение, перешедшее в словари дореволюционной России, со слов русского офицерства.

Сам Казбич говорит о себе: «Раз — это было за Тереком, я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались, кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров» — и дальше рассказывает об удалом прыжке от русских солдат. В ответ Казбич слышит от юного Азамата: «Ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы». В глазах чеченца Азамата, рвущегося на борьбу с русскими, абрек Казбич — герой. Дальнейшая участь Азамата рисуется русскому офицеру, как участь одного из этих «добрых людей»: «Так с тех пор и пропал: верно пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью». В изъяснении слова абрек В. И. Даль согласен с Азаматом и Казбичем: «Абрек — отчаянный горец, давший срочный обет или зарок не щадить головы своей и драться неистово» — конечно, драться с русскими; лишь производное значение слова абрек у Даля согласно с толкованиями русских офицеров: «беглец, приставший для грабежа к первой шайке»[2].

Абрек — это вооруженный всадник-набежчик, удалец-мститель, поклявшийся в вечной вражде к русским («гяурам»), будет ли это солдат, казак или простой поселенец, промышленник, торговец на землях, отнятых русскими у горцев. Абреки стремились нанести возможно больший экономический вред колонизаторам: угнать стада, разграбить караван, сжечь поселение, спалить хлеб в стогах или на корню. От правильно организованных горских вооруженных сил, ведших борьбу с русскими войсками, абреки отличались именно этим партизанским стремлением сокрушать экономическую мощь врага-завоевателя. То обстоятельство, что главный удар абреки устремляли на хозяйственные ценности русских, послужило для русских поводом считать абреков за простых

---

[1] Примечание к главе VI повести «Казаки» (1852—1862) Полн. собр. соч., юбилейное издание, том VI, М. — Л. 1929, стр. 22.

[2] Даль В. И., Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1, изд. 4-е, стр. 5.



С неизданного рисунка М. Ю. Лермонтова.
(Из частного собрания.)

разбойников. «Если вся чеченская масса народонаселения относилась к русским враждебно, то особенною ненавистью отличались абреки, которые бросали семью, род, дом и все близкое и отдавали жизнь на борьбу с гяурами. Интересна их клятва или присяга. «Я, сын такого-то, сын честного и славного джигита, клянусь... принять столько-то-летний подвиг абречества, — и во дни этих годов не щадить ни своей крови, ни крови всех людей (т. е. всех гяуров, всех русских. — *С. Д.*) и истреблять их, как зверя хищного... Если же не исполню клятвы моей, если сердце мое забьется для кого-нибудь любовью или жалостью, пусть не увижу гробов предков моих, пусть родная земля не примет меня, пусть вода не утолит моей жажды, хлеб не накормит меня» [1].

Об абреках читаем в записках офицера, современника Печорина: «Смелые, предприимчивые и хорошо знакомые с местностью, они водили к нам дальних горцев для грабежа и, когда им удавалось прорваться за нашу границу, жгли русские дома, угоняли скот и лошадей; убивали каждого

[1] Ковалевский П. И., Кавказ, т. 1, Народы Кавказа, СПБ 1914, стр. 159.

встречного, захватывали детей и женщин. Наши пограничные казаки... в свою очередь, столкнувшись с абреками, когда сила брала, истребляли их до последнего человека... Ни казаки, ни черкесы никогда не просили и не давали пощады... Несмотря на все... предосторожности... черкесские абреки весьма часто проходили небольшими партиями через кордонную линию или прорывались через нее в большом числе открытою силой, проникая в глубину края, к Ставрополю, к Георгиевску и в окрестности минеральных вод. Смелость их бывала в этих случаях изумительна и нередко удивляла даже самых привычных кавказских ветеранов» [1].

Подобное же изображение абречества находим в «Воспоминаниях о службе на Кавказе в начале 1840-х годов» М. Л. Ливенцова [2].

Сила абречества была так велика, что русскому командованию приходилось считаться с абреками, как с воюющей стороной. Так, полковник Клюкки фон Клюгенау, вступив в 1832 г. в переговоры с объединителем Дагестана Гази-Мухаммед, предлагал ему объявить с посланным «ясно, недвумысленно настоящее твое и *абреков гимрийских и иргайских* намерение»; и прислать «нескольких старшин из селений Гимры и Ирганоя и *нескольких абреков*» [3]. Когда Кавказ был покорен, абреки-одиночки продолжали вредить русским, предпочитая смерть признанию русского владычества.

Лермонтов с исторической верностью дал в «Бэле» две характеристики абрека [4]: ту, которая соответствовала действительности, он вложил в уста настоящего и будущего абреков — Казбича и Азамата, а ту, которую измышляло русское офицерство — вложил в уста Максима Максимыча.

Однако и Максим Максимыч не смог утаить до конца истинного облика абрека как непримиримого бойца против

---

[1] Т(орнау), Воспоминания кавказского офицера 1835—1838 гг., ч. 2-я, М. 1864, стр. 7—8.

[2] «Русское Обозрение» № 8, 1894, стр. 722.

[3] Ковалевский П. И., Кавказ, т. II, стр. 210—211.

[4] Пятью годами раньше «Бэлы» Лермонтов пытался дать романтическую зарисовку образа абрека в поэме «Хаджи-абрек» (1833—1834). Но Хаджи-абрек изображен в поэме не как удалой наездник, борец с русскими, а как бестрепетный и холодный выполнитель закона кровавой мести среди одноплеменцев. Поэма, против воли Лермонтова, оказалась первым его произведением, увидевшим печать. Недовольный поэмой и ее напечатанием, поэт не перепечатал ее в собрании стихотворений (1840).

врагов своего народа[1]. Штабс-капитан завершает рассказ о Казбиче так: «Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами...»

Шапсуги[2], жившие между берегов Черного моря, южным скатом Главного хребта, долиной Адерби и Абхазией, отчаянно сопротивлялись русским вплоть до 1863 г., когда теснимые правым флангом русских войск, они получили приказ переселиться на Кубанскую равнину или выселиться в Турцию. В огромной своей массе шапсуги предпочли последнее (1864). У храбрых и непримиримых шапсугов племенное устройство было весьма демократично. В конце XVIII в. — «права и преимущества дворян уничтожены и всенародно объявлено равенство... Последствием переворота было то, что одни из дворянских фамилий оставили край и нашли убежище у соседей, а другие прибегли под покровительство русских... Законодательная и распорядительная

---

[1] Характеристике современных «потомков абреков» — горцев Карачаевской автономной области — посвящен фельетон Белявского в № 108 «Известий» за 1938 г.: «Потомки абреков Карчи и Ачемеза, сражавшихся в местности Хасаун, что возле Карт-Джюрта, с луками и кремневыми ружьями в руках против собственных феодалов-князей и царских колонизаторов, сейчас, в тесной дружбе с русским народом, строят свободную жизнь, в которой воплощаются извечные мечты о счастье и довольстве...

Самый центр области — Микоян-Шахар едва насчитывает десять лет «от роду». Его белые, добротной, простой и изящной архитектуры многоэтажные дома, разделенные широким асфальтированным проспектом и зеленью аллей и скверов, являются как бы прологом к неписанной поэме о Карачае сталинской эпохи...

Горы, веками таившие в себе всевозможные ценные металлы и минералы, раскрыли сейчас свои недра, уступив соединенным усилиям геологов и рабочих...

Впервые в истории своего существования карачаевцы получили возможность выйти из каменистых, бесплодных ущелий в плодородные низовья Кубани и ее притоков. Эту возможность дала карачаевским колхозам советская власть в 1933 г., передав им навечно степные земли и пастбища. Сейчас многие колхозы ставят вопрос о переселении на прирезки...

Что творится на берегах... пенистых горных ручейков?! Колхозные каменщики, плотники и землекопы возводят плотину, которая изменит течение вод, подымет их и направит в турбины гидростанции. Она даст энергию и свет всему Большому Карачаю... Смех и песни строителей не устает повторять эхо гор».

[2] Шапсуги, по классификации Н. Я. Марра, принадлежат к «западно-бассейному [illegible] [illegible] ответвлению северо-кавказских яфетидов» (указ. соч., стр. 45), входя в западную группу черкесов (адыгеев).

власти имеют у шапсугов начало свое в народе: следовательно и управление должно считаться демократическим»[1].

Если к шапсугам, непримиримым и непримирившимся врагам русских, действительно, попал Казбич, это означало, что он из положения полумирного, полуабрека перешел открыто и окончательно на сторону злейших врагов русского завоевания.

«Лошадь его (Казбича) славилась в целой Кабарде», — рассказывает Максим Максимыч.

Лошадь Казбича — Карагез (по-турецки: l'Qaragez, черноглазая) — является как бы второй половиной самого абрека: она — его друг, помощник в его лихих наездах на русские станицы; поэтому же для Максима Максимыча она — «разбойничья лошадь». Важнейшим условием абреческих успехов являлось обладание превосходной, выносливой лошадью. Вот почему в глазах настоящего и будущего абреков — Казбича и Азамата — Карагез имеет такую исключительную ценность.

Русские власти отлично сознавали значение Карагезов для черкесов и чеченцев. Автор «Поездки в Грузию» требует, чтобы поселения горцев были отделены от Линии пустым пространством: «Пространные равнины за линиею казаков, и смерть тому из переселенных, кто появится вооруженный и на лошади: вот что необходимо. Сие запрещение употребления лошадей тем удобнее исполнить, что они служат черкесам единственно для поисков грабежа, добычи; для пашни же и всех домашних работ употребляются волы»[2]. Борьба с выносливой и быстрой черкесской лошадью представлялась русским завоевателям чуть ли не менее важным, чем борьба с самими черкесами.

В изображении абреков Казбича и Азамата Лермонтов, в реальном плане, завершает свои многочисленные попытки изобразить горцев Кавказа, сделанные в романтическом плане.

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы
. . . .
И диких тех ущелий племена,
Им бог — свобода, их закон — война.

(«Измаил-бей», 1832.)

---

[1] Люлье Л., О натуханцах, шапсугах и абадзехах, «Записки Кавказ. Отд. Русск. Географ. Общ.», кн. 4-я, Тифлис 1857, стр. 234—236.

[2] «Московский Телеграф» № 15, 1833, стр. 340.



Эпизод из Кавказской войны. (С картины Г. Г. Гагарина и М. Ю. Лермонтова.)

Эту любовь к горским племенам Кавказа Лермонтов сохранил и в «Герое нашего времени»: она проступает здесь сквозь строго реалистический строй повествования.

Правдиво и исторически верно изображая отношение русского офицерства к своим противникам, Лермонтов-прозаик, за свое изображение горцев в своем романе, заслуживает того же отзыва, который вызван кавказскими поэмами Лермонтова:

«Кто как Лермонтов — русский офицер, посланный против чеченцев, против кавказских народов, отличавшийся в боях храбростью и отвагой, кто, как он, сумел в своих стихах тонко, остро и с глубочайшим сочувствием рассказать о силе сопротивления горцев царизму, кто, как он, сумел вылепить скульптурные образы мужественных, храбрых, свободолюбивых горцев, не желающих покориться царскому владычеству?» [1].

В 1841 г., когда Лермонтов в последний раз возвращался на родину с Кавказа, он писал:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Строки эти принадлежат боевому офицеру, происходящему из старинного дворянского рода. Но этот офицер и дворянин отвергает здесь все, в чем официальная Россия царя и его слуг видела проявление любви к родине. Недавние победы Николая I над Персией и Турцией (1826—1829) и самая война с горцами Кавказа для Лермонтова представляется лишь пустой «славой, купленной кровью» русского народа и порабощаемых народов Кавказа. Эта слава — «не шевелит отрадного мечтанья» в Лермонтове.

Лермонтов любит родину «странною любовью», непонятной для Николая I и его спосгешников: — любовь Лермонтова к родине — это любовь к ее великому народу, к ее неоглядным просторам с «дрожащими огнями печальных деревень», это любовь к свободе этого народа.

Лермонтов, по словам Н. А. Добролюбова, «умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством служит замечательное его творение

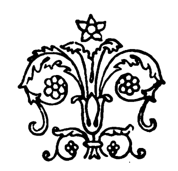
[1] «Известия» № 9, 1937.

«Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно»[1].

Слова Добролюбова полностью относятся и к «Герою нашего времени»: в изображении горцев Кавказа, в своем отношении к ним и к их борьбе за свою независимость, Лермонтов «становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно».

---

[1] Добролюбов Н. А. О степени участия народности в развитии русской литературы.





I. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПЕЧОРИНА

1

КАКОВА хронология жизни Печорина? Ответ на это нужен для решения другого вопроса: «героем» какого именно «времени» или поколения, действовавшего в истории, мог быть Печорин?

Хронология жизни Печорина устанавливается из сопоставления данных «Героя нашего времени» с указаниями его недописанного пролога — «Княгини Лиговской». Действие этого романа начинается — «в 1833 г., декабря 21 дня», и Печорину в это время «было двадцать три года», следовательно, он родился в 1810 г. Данные, почерпнутые из «Героя нашего времени», вносят поправку в эту дату. «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер»: так начинается «Предисловие» издателя «Журнала Печорина». «Предисловие» написано было в конце 1839 г., так как 19 февраля помечено уже цензурное разрешение печатать «Героя нашего времени». Это последняя возможная дата для жизненного конца героя романа. Следовательно, Печорин умер в 1839 г., в первой его половине: это и будет «недавно» по отношению к авторской дате «Предисловия».

Предполагая, что на путешествие в Персию ушло у Печорина около года, легко определить дату встречи издателя «Журнала» с Печориным и Максимом Максимычем: это будет лето 1838 г. Рассказывая о своей встрече с Печориным в захолустной крепости, Максим Максимыч говорит: «Этому

скоро пять лет», — стало быть, это было в 1833 г., и тут же прибавляет, что Печорин был тогда «лет двадцати пяти», — стало быть, он родился в 1808 г.

Итак, 1808—1810 гг.: вот тот предел, между которым находится дата рождения Печорина. Примем за нее — 1808 г.

Лермонтов склонен строить предъисторию Печорина во всем параллельно со своей собственной жизнью. «Я сам был некогда юнкером, и право, это самое лучшее время моей жизни!» — вспоминает сам Печорин.

Как и Лермонтов, Печорин, вероятно, учился в Петербургской «школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров», учрежденной в 1823 г. с целью «дать молодым людям твердые понятия о строгой подчиненности, дисциплине и прочих обязанностях, присущих военному званию».

«Первая молодость» Печорина прошла в «удовольствиях», успехах в «большом свете», наконец, в недолгом чтении и быстро пришедшей скуке. Это не заняло слишком много времени: «вскоре», исчисляет сам Печорин, «меня перевели на Кавказ» — за дуэль, как видно из чернового варианта «Княжны Мери».

На Кавказ Печорин попал в 1832 г., когда ему было 24 года. По дороге в действующую армию он пережил приключение в «Тамани». Он принял участие в делах с горцами на левом фланге («с чеченцами»). При встрече с ним, старый кавказец Максим Максимыч сразу определил, что «он на Кавказе недавно». Печорин не опроверг этого наблюдения. Летом, в мае — июне, как явствует из дневниковых помет «Княжны Мери», Печорин уже отдыхал на минеральных водах. Он постарался поскорее вырваться туда с Линии, потому что тревоги войны ему очень скоро надоели, так как «через месяц», по его словам, он «привык к их (пуль) жужжанью и к близости смерти» и ему «стало скучнее прежнего». Эта скорая скука и вызванная ею потребность «перемены мест», заставляют думать, что этот пятигорско-кисловодский «май — июнь» был всего через год после появления Печорина на Кавказе, т. е. в 1833 г. Последняя запись дневника Печорина помечена 27 июня. В эти два месяца произошла история с княжной Мери и Грушницким. «Осенью» Печорин уже водворился в крепости на Линии, под начальством Максима Максимыча, и через «полтора месяца» после своего прибытия записал окончание своей кисловодской истории. В это время стояла на дворе осень («серые тучи закрыли горы до подошвы; холодно; ветер

свищет и колеблет ставни»): показания «Бэлы» и «Княжны Мери» совпадают в точности. В крепости под началом Максима Максимыча Печорин пробыл, по исчислению последнего, «с год». Иными словами, с осени 1833 и до осени 1834 г. успела приключиться вся история с Бэлой и в эту же пору, отлучившись в казачью станицу на Линию, Печорин сделался участником трагического происшествия с Вуличем («Фаталист»). Из крепости «месяца три спустя» после истории с Бэлой, Печорин, назначенный «в Е...ий полк», «уехал в Грузию». Служба в Грузии, возвращение оттуда в Петербург и жизнь там в отставке, должны занять, примерно, четыре года (1834—1838). Летом 1838 г. Печорин встречается вновь с Максимом Максимычем во Владикавказе, на пути в Персию. Вторая половина 1838 г. и начало 1839 г. падают на дальнейший путь Печорина в Персию, на пребывание его там, на отъезд оттуда и смерть.

Итак, 1808—1839 гг.: вот хронологические рамки жизни Печорина. Кто же его современники? Кто разделяет с ним это «время»?

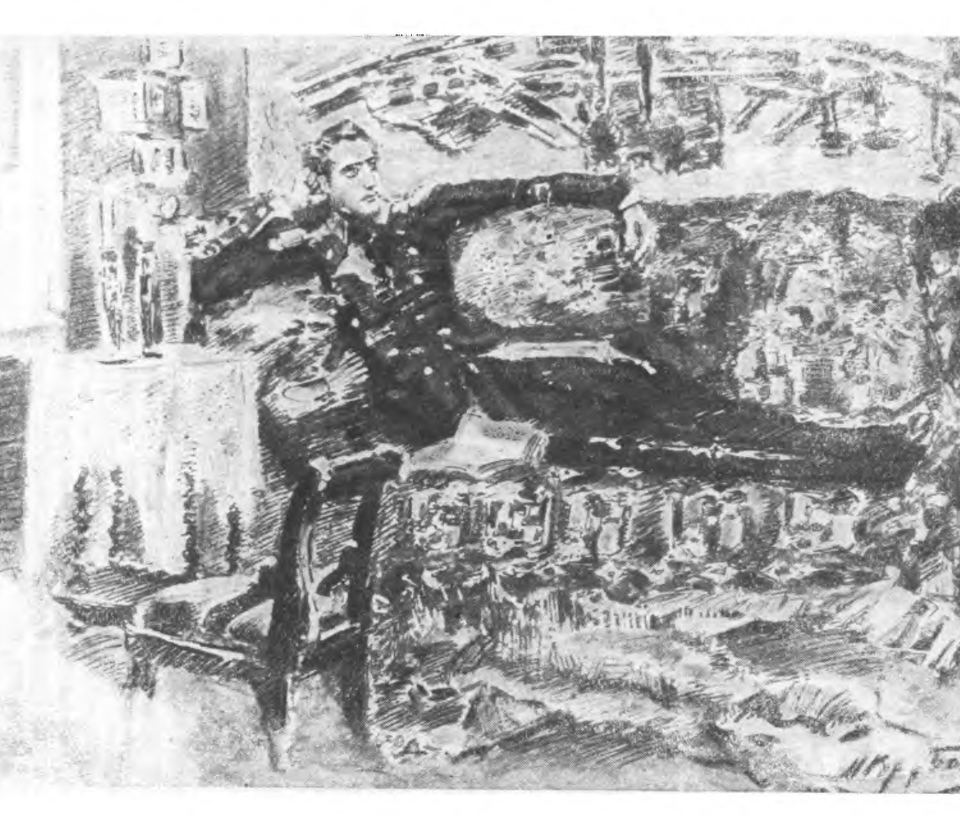
В 1825 г., во время восстания декабристов, Печорину было семнадцать лет.

О людях поколения Печорина А. И. Герцен писал:

«Их раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая I; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным письмом Чаадаева (1835)[1]. Разумеется, в 10 лет они не могли состариться, но они сломились, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, итти в католики, как

---

[1] Чаадаев П. Я. (1793—1856) напечатал в 1836 г. в «Телескопе» «Философическое письмо», в котором доказывал, что у России нет будущего: всем ходом своего исторического развития, столь отличным от развития Западной Европы, России предопределено жалкое прозябание на задворках истории. Чаадаев отрицал какое бы то ни было культурное значение за теми формами государственности, религии и общественности, которыми жила Россия в прошлом и живет в настоящем. За свое «письмо» Чаадаев был, по приказу Николая I, объявлен сумасшедшим и подвергнут насильственному лечению. (См. о Чаадаеве еще в комментарии к «Княжне Мери».)



Печорин. (С рисунка М. А. Врубеля.)

настоящий Печорин [1], или броситься в отчаянное православие, в неистовый славизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты» [2].

Этих людей поколения Печорина Герцен называет «нашими предшественниками», т. е. предшественниками «людей 1840-х годов», к которым принадлежали, кроме самого Герцена, Н. П. Огарев, М. А. Бакунин, Н. М. Сатин и др.[3] Печорин с его сверстниками является представителем *старшей* группы последекабрьского поколения дворянской интеллигенции, и в этом смысле, действительно, оказывается «предшественником» его *младшей* группы, к которой принадлежали Герцен и другие. Несмотря на то, что Печорина отделяет от них ничтожная разница не свыше семи лет, есть большое и глубокое историческое различие между старшей и младшей группой этого поколения. Печорин и его сверстники выросли под впечатлением расправы с декабристами; они изувечены мертвящею жестокостью николаевской казармы, — и потому поколение Печориных было еще бессильно вырастить в себе начатки того общественного и тем более политического сознания, которое, в конце концов, обрели лучшие представители младшей группы этого же поколения. Социальные устремления Герцена, Огарева были чужды Печорину. Родство его с ними проявляется в другом.

А. И. Герцен писал о Лермонтове: «Он всецело принадлежал к нашему поколению. Мы все, наше поколение, были слишком юны, чтобы принимать участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы видели только казни и ссылки. Принужденные к молчанию, сдерживая слезы, мы выучились сосредоточиваться, скрывать свои думы, — и

---

[1] Под «настоящим Печориным» А. И. Герцен разумел Печерина Вл. С. (1807—1885). Профессор московского университета, он в 1836 г. эмигрировал за границу под влиянием «глубокого отчаяния и неизлечимой тоски», которые возбудила в нем царская Россия с ее «грубо животной жизнью», с ее «униженными существами», с ее рабством и безмыслием. (Из письма Печерина к С. Г. Строганову). Бежав из России с мечтой о социальном преображении человечества, Печерин претерпел разочарование и в фантастике социально-романтического утопизма и вступил в католический орден редемптористов. Но и католичество не удовлетворило Печерина: в 1869 г. он писал: «Я до сих пор умственно странствую и нигде ни на чем остановиться не могу».

[2] Былое и думы, т. I, ч. 4-я, гл. XXX.

[3] Приводим для сравнения с возможной датой рождения Печорина — 1808 г. — даты рождения виднейших «людей 1840-х годов»: 1811 — В. Г. Белинский, 1812 — А. И. Герцен, 1813 — Н. П. Огарев, Н. В. Станкевич; 1814 — М. А. Бакунин, Н. М. Сатин и М. Ю. Лермонтов.

какие думы! То не были уже идеи цивилизующего либерализма, идеи прогресса (т. е. идеи декабристов. — *С. Д.*), то были сомнения, отрицания, злобные мысли.

Привыкший к этим чувствам, Лермонтов не мог спастись в лиризме, как Пушкин. Он влачил тяжесть скептицизма во всех своих фантазиях и наслаждениях. Мужественная страстная мысль никогда не покидала его чела. Она пробивается во всех его стихотворениях. То была не отвлеченная мысль, стремившаяся украситься цветами поэзии, нет, рефлексия Лермонтова, это его поэзия, его мучение, его сила. У него было более сочувствия к Байрону, чем у Пушкина.

К несчастью, к слишком большой проницательности в нем прибавлялось другое — смелость многое высказать без подкрашенного лицемерия и пощады. Люди слабые, задетые никогда не прощают такой искренности. О Лермонтове говорили как об избалованном аристократическом ребенке, как о каком-то бездельнике, погибающем от скуки и пресыщения. Никто не хотел видеть, сколько боролся этот человек, сколько он выстрадал, прежде чем решился высказать свои мысли» [1].

В общности этих «сомнений, отрицаний, злобных мыслей» — заключается несомненно родство Печорина с поколением Герцена. Должно еще не упускать из виду, что Печорин умер на пороге 1840-х годов; в эту пору сильнейшим представителям последекабрьского поколения, как Герцену Огареву и Бакунину, было еще далеко до последующей законченности их политико-социальных воззрений, даже Белинский в это время еще слагал философские гимны консерватизму, утверждая «разумность всего существующего».

При суждении об общественно-политическом жизнечувствии Печорина необходимо однако вспомнить один из важных фактов биографии Лермонтова. Осенью 1839 г. Лермонтов вместе с Монго-Столыпиным посещал собрания одного нелегального общества, которое называли, по числу его членов, «кружком шестнадцати». «Это общество, — пишет один из его участников, — составилось частью из университетской молодежи, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III отделения собственной его императорского величества канцелярии и

---

[1] Герцен А. И., О развитии революционных идей в России.

не существовало: до того они были уверены в скромности всех членов общества».

Кроме Лермонтова и А. А. Столыпина, к «кружку шестнадцати» принадлежали: граф Браницкий, гусарский поручик и флигель-адъютант, князь Иван Сергеевич Гагарин, перешедший потом в католичество и вступивший в орден иезуитов, граф Петр Александрович Валуев, впоследствии председатель комитета министров, князь Сергей Долгорукий, граф Андрей Шувалов и др. [1].

Состав участников оппозиционного кружка шестнадцати — это круг петербургской военной и штатской аристократической молодежи: — иначе сказать это тот самый круг, в котором вращался в Петербурге Печорин. При своей гордой умственной и жизненной независимости, при своей бесспорной оппозиции той политической и идейной молчалинской «умеренности и аккуратности», которая насаждалась тогда всюду Николаем I, Печорин, если б дожил до осени 1839 года, подобно Лермонтову, легко мог бы стать членом подобного оппозиционного кружка, не имевшего никакой определенной политической (и тем более социальной) программы, по дорожившего независимостью своих суждений и отстаивавшего право собственного мнения по вопросам текущей жизни.

2

К какой группе поместного дворянства принадлежал Печорин?

На взгляд бедного кавказского офицера Максима Максимыча, он — «богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц». На минеральных водах Печорин ведет жизнь состоятельного человека: делает дорогие покупки, держит для приятелей открытый стол с вином, на конюшне у него четыре лошади и т. д. Он предпринимает дорого стоящее путешествие в Персию со всеми удобствами: в щегольской заграничной коляске, нагруженной множеством чемоданов, с балованным лакеем. «Богатая», по собственному признанию, княгиня Лиговская так определяет имущественное положение Печорина: «вы имеете состояние» и тут же намечает границы этого «состояния», указывая ему, что она не ищет у жениха

---

[1] Korczak-Branicki Xavier, Les nationalités slaves. Lettres au réverend P. Gagarin (s.-j.), Paris 1879, p. 1—3; Викторов Н., Кружок шестнадцати, «Исторический Вестник», кн. 10 я, 1895, стр. 175—182; Бильбасов В., Самарин Гагарину о Лермонтове, «Новое Слово» № 2, 1894, стр. 37—47.

для своей дочери «огромного богатства», — стало быть, «состояние» Печорина близко к «богатству», дающему возможность независимой жизни, но не «огромное». В «Княгине Лиговской» Лермонтов точнее определял имущественное положение Печорина, сообщая, что «у родителей его было три тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губерниях». Что могло считаться «богатством» среди поместного дворянства 1830-х годов?

В 1835 г. класс помещиков делился на такие имущественные слои:

беспоместных	14%
имеющих до 20 душ	45,9%
„ от 21 до 100 душ	24%
„ от 101 до 500 душ	13,2%
„ от 501 до 1000 душ	1,8%
„ свыше 1000 душ	1,1%

В последнее тридцатилетие перед падением крепостного права «мелкопоместными» считались те владельцы, у которых число ревизских душ не превышало 20, с наделом на душу не более $4^1/_2$ десятин [1]. В 1831 г. был издан закон, закреплявший сословные права только за дворянином-середняком и дворянином-богачом. По этому закону непосредственно участвовать в дворянских выборах и собраниях могли лишь те дворяне, которые обладали имением не менее чем со 100 душами или имели площадь владений не меньше, чем 3000 десятин в одной губернии. Дворяне, владевшие имениями от 5 до 99 душ или от 15 до 2999 десятин, выбирали уполномоченных для участия в дворянских собраниях; те же, кто имел меньше 5 крепостных душ или меньше 150 десятин земли, теряли право какого бы то ни было участия в выборах и собраниях.

Если б Печорин «Героя нашего времени» обладал таким же состоянием, как Печорин «Княгини Лиговской», т. е. 3000 душ в трех губерниях, то он принадлежал бы к самой богатой «верхушке» поместного дворянства, составлявшей 1,1% всего класса. Если Лермонтов несколько понизил состояние Печорина из романа сравнительно с состоянием Печорина из «Княгини Лиговской» и если предположить, что, вместо 3000 душ, Печорин романа владел 501—1000 душ,

---

[1] См. статью Десницкого В. А., в сборнике «В борьбе за марксизм в литературной науке», Л. 1930. стр. 13, а также: Скребницкий, Крестьянское дело в царствование Александра II, Бонн на Рейне, т. IV, 1868, стр. 548—676 и 1231.

то такое состояние опять-таки включало бы его обладателя в верхушку класса: таких владельцев насчитывалось лишь 1,8% в массиве всего класса. В повествовании о Печорине нет ни намека на какую-либо материальную скудость или даже затруднительность; наблюдение княгини Лиговской оказывается справедливо: Печорин обладает таким состоянием, что оно дает ему возможность вести независимую жизнь сообразно с его сложными вкусами и влечениями: служить или не служить, жить в Петербурге или путешествовать по Востоку. Противник Печорина в романе, армейский офицер Грушницкий, является и его антагонистом по социальному размежеванию внутри класса: он как раз принадлежит к той мелкопоместной группе дворянства, которая в 1830-х годах составляла подавляющее большинство в классе (см. табличку), но именно в эти же годы (закон 1831 г.) лишилась значительной доли своих сословных прав. У психологического антагонизма между Печориным и Грушницким есть свое социальное основание.

3

Печорин, как было указано, принадлежит к последекабрьскому поколению верхнего слоя поместного дворянства. Этим обусловлены многие черты его социальной и психической личности, вызывающие отрицательную оценку даже в нем самом, как видно из его признаний Максиму Максимычу («У меня несчастный характер» и т. д.) и из его записей в дневнике («Княжна Мери»).

Верхний слой дворянства, после разгрома декабрьского движения, был приведен Николаем I в образцовое «верноподданичество», которое делалось тем прочнее, чем сильней и быстрее росла задолженность дворянства государственному банку, бывшему единственной финансовой опорой для разваливавшегося крепостного помещичьего хозяйства. В Петербургском, так называемом высшем обществе, по наблюдению французского путешественника Кюстина, «человек жаждет взгляда своего властелина, как растение живительных лучей солнца; самый воздух принадлежит императору: им каждый дышит лишь постольку, поскольку ему это дозволено: у истинного царедворца легкие так же подвижны, как и спина»[1]. Современник Лермонтова кн. А. И. Васильчиков так изображает это «замиренное» Николаем I общество, в котором приходилось вращаться в 30-х годах и Лермонтову, и Печо-

---

[1] Маркиз де Кюстин, Николаевская Россия, М. 1930, стр. 72.

рину: «Парады и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря (именины Николая I), в Новый Год и на Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц в фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры, — вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями коего были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины. Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко ее пустоту» [1]. В никогда не предназначавшейся для печати поэме «Сашка» Лермонтов, набрасывая излюбленный им образ сына степей, свободного вскормленника природы, с завистью восклицал, сравнивая его со своим современником из дворянской среды:

Он *не успеет вычерпать до дна*
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина;
Он, в двадцать лет желающий чего-то,
Не будет вечной одержим зевотой
И в тридцать лет не кинет край родной
С больною грудью и больной душой...
И не решится от одной лишь скуки
Писать стихи, марать в чернилах руки
Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства с рабским униженьем,
Прикрыть мундиром сердце подлеца,
Искать чинов, мирясь с людским презреньем.

В этих строках Лермонтов четко наметил два пути, предлежавшие в николаевской России человеку его класса: или принять обывательский жребий «глупой овцы» дворянского стада, зорко, после 14 декабря 1825 г., пасомого крутым хозяином Николаем I, или, не приняв этого жребия, стать «лишним человеком», чей образ с такой точностью набросан в приведенных стихах, что его можно счесть за ранний эскиз Печорина. (См. подчеркнутые строки.)

В автобиографии Печорина, какой является роман Лермонтова, нет намека на какое-либо участие его или даже на сочувствие его какому-нибудь общественному движению современности,— хотя бы и не русской, а европейской — нет намека даже на ту минимальную общественную действенность, которая выразилась у Онегина в том, что

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил

---

[1] «Несколько слов в оправдание Лермонтова», «Голос» № 15, 1875.

и в том, что он читывал, зевая, Адама Смита и не прочь был поговорить на политико-экономические темы, как любили рассуждать и писать на эти темы декабристы. Онегин — человек александровской эпохи и, при всей своей лености и дэндизме, он причастен к общественным интересам и некоторым прогрессивным порывам декабристской эпохи [1]. Печорин, наоборот, чужд им: он принадлежит к тому поколению, которое Лермонтов обвинял:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы,
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью презренные рабы.

(«Дума», 1838.)

Пустоту и безмыслие петербургских дворянских кругов, обусловленные декабрьским разгромом и «кредиторством» Николая I, Лермонтов ярко очертил, изображая в VI главе «Княгини Лиговской» встречу Печорина с его гвардейскими сверстниками: «разговор их... был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, об чем могут говорить молодые люди, запас новостей скоро истощается, в *политику благоразумие мешает пускаться,* об службе и так слишком много толкуют на службе». Выход из этой пустоты безмыслия оставался в еще большую пустоту прожигания жизни. «Удовольствиям, которые можно достать за деньги», подобно Печорину, предавался сам Лермонтов, признавшийся, по выходе в гвардейские офицеры, что ему «нужны материальные наслаждения, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотом... чтобы оно только обольщало чувство, оставляя в покое и бездействии душу» [2].

Следующий фазис Печоринского существования также пережил сам Лермонтов. Печоринскому признанию: «Потом пустился я в большой свет и скоро общество мне также надоело» и т. д. — почти буква в букву соответствует признание Лермонтова [3]: «...я несчастнейший человек; вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы. Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была

---

[1] Речь идет об Онегине того романа Пушкина, который был издан и известен современникам. В уничтоженной 10-й главе «Евгения Онегина» Пушкин, как теперь известно, ввел Онегина непосредственно в круг декабристов.

[2] Письмо к М. А. Лопухиной от 4 августа 1833 г.

[3] Письмо к М. А. Лопухиной от 1838—1839 гг.

мода, меня наперерыв отбивали друг от друга... Тем не менее, я скучаю... Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; вам, может быть, покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняюсь по гостиным, когда там нет ничего интересного. Ну, так, я открою вам мои побуждения. Вы знаете, что самый мой большой недостаток — это тщеславие и самолюбие». Панаев, встречавшийся с Лермонтовым в 1830-х годах, утверждает: «Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека» [1].

Пресыщение светскими успехами приводит Печорина к тому, что он «стал читать, учиться»: это черта, общая у него с Онегиным, но разочарование его в книгах глубже, чем у его литературного и социального предка. Оно окрашено чисто лермонтовскими красками:

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.

(«Д у м а», 1838.)

«Науки надоели, — признается Печорин,— я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо быть только ловким».

Подобные суждения Печорина перекликаются с «Философическими письмами» П. Я. Чаадаева, свое неверие в науку завершившего отходом в католическую мистику.

4

«Тогда мне стало скучно» — резюмирует Печорин свои опыты уйти от пустоты жизни в наслажденья, в «свет», в «науку».

Скуку Печорина—как жребий «лишнего человека» в своем классе, — разделяют с ним и его предшественники — Онегин, Елецкий («Наложница» Боратынского), Арсений («Бал», его же), и его сверстники и потомки — «лишние люди» из поэм и романов Майкова, Тургенева, Л. Толстого, Писемского, Авдеева и др. (см. очерк «Сверстники и потомки Печорина»).

«Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни» — так, в двух словах, изображает Печорин

---

[1] П а н а е в, Воспоминания, СПБ 1876, стр. 173.

Максиму Максимычу свой уход из петербургской жизни, полной одуряющей пустоты и томительной скуки.

Это не был добровольный переход на службу на Кавказ. Вот что рассказывает Печорину доктор Вернер после своего визита к «княгине Лиговской»:

«Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо, я ей заметил, что верно она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... Я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя вероятно к светским сплетням свои замечания».

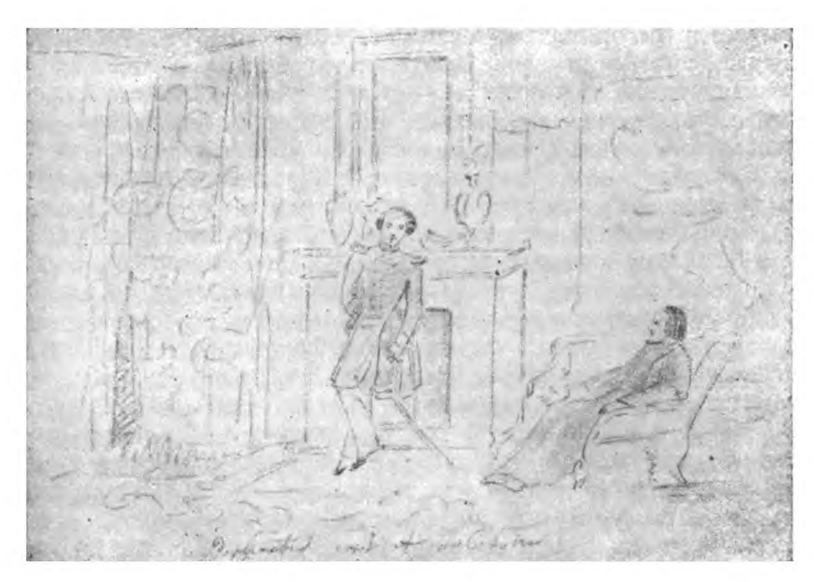
В черновике Лермонтов точно обозначил причину высылки Печорина на Кавказ. Первая запись его дневника первоначально кончалась так: «Но я теперь уверен, что при первом случае она (Мери) спросит, кто я и почему я здесь, на Кавказе. Ей, вероятно, расскажут страшную историю дуэли и особенно ее причину, которая здесь некоторым известна, и тогда... Вот у меня будет удивительное средство бесить Грушницкого!». Во второй записи, вместо — «княгиня стала рассказывать о ваших похождениях», в черновике стояло: «княгиня мне стала рассказывать о какой-то дуэли»; Лермонтов заменил «дуэль» неопределенным указанием на какую-то «историю», случившуюся с Печориным, сосредоточивая все внимание читателя *на настоящем* Печорина, на его психологии, и избегая останавливаться на «предъистории» своего героя.

Из краткого сообщения княгини Лиговской Вернеру вырисовывается такая «предъистория» Печорина, приведшая его на Кавказ, которая близко напоминает «предъисторию» самого Лермонтова до первой ссылки на Кавказ: «Насмешливый, едкий, ловкий, — проказы, шалости, шутки всякого рода, сделались его любимым занятием, — вместе с тем полный ума, самого блестящего в разговоре, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был запевалой в беседах, в удовольствиях, в кутежах, словом, во всем том, что составляет жизнь в эти годы» [1].

Печорин попал на Кавказ благодаря тому, что был переведен туда за дуэль из гвардейского полка в армейский. Так же точно, в 1840 г. сам Лермонтов был во второй раз

---

[1] Письмо Е. П. Ростопчиной к Ал. Дюма: «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage», par A. Dumas, Leipzig, vol. II, 1859, p. 254.



Diplomatie civile et militaire.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

отправлен на Кавказ, в армейский полк, за свою дуэль с Барантом.

Однако на Кавказ устремлялись в 1830-х годах и совершенно добровольно.

Для Печорина и многих его сверстников характерна попытка — на Кавказе найти исход своей петербургской скуки: бегством на Кавказ они пытались спастись от томящей пустоты и казарменной тесноты николаевского Петербурга.

«В эпоху господства канцелярско-казарменного режима, в эпоху процветания крепостного права и всеобщего сервилизма дикий Кавказский край, с его отважным, свободолюбивым населением, упорно и храбро отстаивавшим родные горы от напора могущественного врага, приобретал особенный ореол в представлении людей, плохо мирившихся с тяжелыми, обезличивающими и угнетающими условиями современной русской действительности. В противоположность закрепощенной России, «страны рабов, страны господ», Кавказ являлся — в их глазах по преимуществу страной свободы, «приютом вольности святой», привлекавшим поэтому к себе их внимание и симпатии. Этот взгляд сказался еще в

«Кавказском пленнике» Пушкина, герой которого, «отступник света, друг природы», покидает культурное общество и отправляется в далекий Кавказский край, увлекаемый «веселым призраком свободы». — «Свобода! он одной тебя еще искал в подлунном мире», замечает о нем поэт, подчеркивая таким образом эту характерную черту своего разочарованного героя. С подобным же представлением о Кавказе, как о стране свободы, встречаемся мы у Лермонтова»[1]. «Лучшие из офицеров старались вырваться из Михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров»[2]. В военной службе на Кавказе думал найти выход из неразрешимых противоречий жизни 1830-х годов Н. П. Огарев: «Мечта о Кавказе меня не покидает. Война — лучший выход. *Разумно*, я чувствую, никогда не выйду, да и скучно что-то искать разумного выхода, если он сам не приходит. Наука и практическая деятельность не даются мне. Деятельность *беспутная* лучше выведет на путь. Да ведь оно как-то и хорошо — шумная битва, да шумный бивак»[3].

После первой ссылки на Кавказ (1837), вновь вкусив суеты и пустоты большого света, измученный манежной военщиной Лермонтов рвался в 1838 г. на Кавказ: «Просился на Кавказ — отказали, не хотят даже, чтобы меня убили»[4].

В совершенном согласии с этими историческими свидетельствами Печорин говорит штабс-капитану: «Вскоре меня перевели на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями»... Позднейшее признание самого Лермонтова чрезвычайно схоже с этими словами Печорина: «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые не показались бы приторными»[5]. Однако ни Лермонтов, ни Печорин не стали профессионалами войны. Лермонтов, высказавший в нескольких экспедициях в делах с чеченцами исключительную храбрость и военную удачливость, неуклонно,

---

[1] Саводник В., Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева, М. 1911, стр. 228.

[2] Васильчиков А., «Голос» № 15, 1875.

[3] Анненков П., Идеалисты тридцатых годов, «Вестник Европы» № 3, 1883, стр. 163.

[4] Письмо к М. А. Лопухиной от 8 июня.

[5] Письмо к А. А. Лопухину от 12 сентября 1840 г.

хотя и безуспешно, добивался отставки. Печорин потерял всякий интерес к войне, как только приметил, что «скука живет и под чеченскими пулями». Лермонтов совершенно лишил Печорина военного, профессионально-кастового, офицерского кавказолюбия, какое было не только у кавказских офицеров Марлинского, но которого не чужд был даже кавказец-декабрист А. А. Бестужев. У Печорина нет «ретивства» к войне; он ни разу не говорит о ней; он нисколько не увлечен борьбой с черкесами. Отдав романтическую дань офицерскому кавказолюбию на манер Марлинского в «русском офицере» и в воинственной строфе (часть III, стр. 1) «Измаила-бея», Лермонтов в Печорине рисует русского офицера, глубоко разочарованного в своем деле, офицера, родственного автору «Валерика». За исключением первого месяца своей кавказской службы, Печорин делает свое военное дело, как скучную неизбежность, так как он служит на Кавказе не по своей воле, и как только представляется возможность, Печорин выходит в отставку. Он совершенно лишен военного честолюбия и карьеризма. На Кавказе делали скорую и блестящую карьеру. Несмотря на то, что Печорин храбр и смел до дерзости, он остается все в том же первом офицерском чине, в каком приехал на Кавказ — в чине прапорщика.

Для дворянина из аристократической семьи, с большим состоянием, начавшего службу в гвардейском полку в Петербурге, оставаться в 25-летнем возрасте при начальном офицерском чине было в 1830-х годах явлением совершенно исключительным. На такое необычное запаздывание в чинах должна была быть особая причина: так как Печорин был переведен на Кавказ из гвардии, без разжалованья в солдаты, то такой причиной могла быть либо отменная нерадивость к службе, требовавшей при Николае I настоящего прилежания и мастерства в строе, выправке и парадировке, либо полное равнодушие к чинам и военной карьере. Очевидно, Печорин, как и сам Лермонтов, благодаря гордой независимости своего характера и нескрываемой свободе своих суждений, был на подозрении у начальства, опасавшегося двигать его по службе.

Разочаровавшись и в жизненных ощущениях, и во впечатлениях, даваемых войной, Печорин признается: «Жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство — путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию — авось, где-нибудь умру на дороге!»

Странствия, как средство преодоления собственной безместности и тоски, привлекают всех, действительных и

литературных, малых и больших «лишних людей» первых десятилетий XIX в. Байрон дает в собственной биографии и в «Странствиях Чайльд-Гарольда» (1812—1818) наиболее глубокий и действенный образ такого странствователя-беглеца, вкладывающего в это бегство свое глубокое разочарование в старом укладе жизни, свою резкую и бурную критику посленаполеоновской дворянской реставрации, пытающейся уничтожить все завоевания Великой Французской буржуазной революции XVIII в. (1789—1794). Но к этому же «бегству» вел мятежников-одиночек из дворянского класса их протест против новых капиталистических форм производственных отношений, казавшихся их индивидуалистическому восприятию царством новой пошлости и старого насилия. Оппозиционные одиночки, «лишние люди» и протестанты искали выхода из своего положения в бегстве в страны, не имевшие ничего общего с Европой в строе и укладе своей жизни. Такими странами представлялись азиатский юг и восток и Северная Америка. Мятежный индивидуализм Байрона, беглеца изгнанника из опостылевшей ему консервативной Англии, нашел свое высшее выражение в борьбе за освобождение Греции. Чайльд-Гарольд и Дон-Жуан бегут, по стопам самого Байрона, на средиземноморский юг и восток, Рене Шатобриана бежит в Северную Америку.

Русская тяга к странствиям — та самая «тоска по чужбине», которою больны были «байронисты» Пушкин и Вяземский,— имела ту же причину, что и тяга самого Байрона: она была пессимистическим бегством культурных одиночек из класса поместного дворянства от мертвой аракчеевщины начала 1820-х годов и от последекабрьской реакции Николая I, покровительствовавшего верноподданной буржуазии. Чаадаев удачно выразил в первом «Философическом письме» эту безместность и бродяжество культурных отщепенцев из дворянства 1820—1830-х годов: «Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что побуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все уходит, все протекает, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками» [1].

---

[1] «Телескоп», ч. 36-я, 1836, стр. 78.

Приятелем будущих декабристов, Евгением Онегиным, в затхлой атмосфере петербургской аракчеевщины

...овладело беспокойство,
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест.

Этим «крестом» Лермонтов наделил Печорина еще в «Княгине Лиговской», утверждая, что «он получил такую охоту к перемене мест». Печорин намерен пуститься в странствие на Восток, как только кончится срок его недобровольной службы на Кавказе («как только будет можно»). В совершенно таком же положении, во время первой ссылки на Кавказ, Лермонтов намечал себе совершенно такой же маршрут: «С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании — то на перекладной, то верхом: изъездил Линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов... Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе... впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой; а право, я расположен к этому роду жизни» [1]. Самое яркое изъяснение смысла этого «бродяжества» находим в стихотворении, написанном Лермонтовым при последнем отъезде на Кавказ в 1841 г.:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ!
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей [2],
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

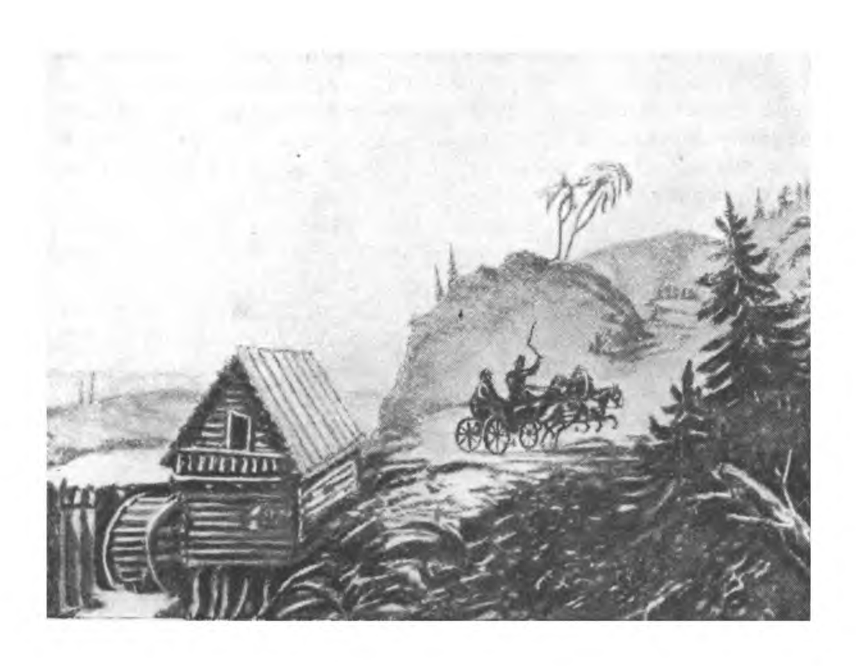
«Еду в Персию и дальше», — сообщает Печорин Максиму Максимычу при последней встрече с ним, исполняя свое намерение, заявленное еще в «Бэле»: «поеду в Америку, в Аравию, в Индию». Поездка «*дальше*» Персии и есть, конечно, поездка *в Индию*. Из предисловия к «журналу Печорина» мы знаем, что Печорин умер на возвратном пути из Персии,

[1] Письмо к Ст. Раевскому, конец 1837 г.
[2] По другому варианту: Укроюсь от твоих царей.

не побывав в Индии: очевидно, дальнейшая «перемена мест» была излишня, так как не излечивала от скуки. То, что из намеченных ранее стран, Печорин избрал именно Персию — не случайность. Туда мечтал попасть и сам Лермонтов, как видно из его только что приведенного письма к С. А. Раевскому: «Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч.» Это была тяга многих молодых людей из круга Печорина и Лермонтова. В 1835 г. его будущий друг, поэт-декабрист кн. А. И. Одоевский с запоздалым сожалением вспоминал о неосуществившемся «проекте отправиться в Персию вместе с добрым и дорогим Александром Грибоедовым» [1]. Д. В. Веневитинов писал брату во время персидской войны (1826): «Молю бога, чтобы поскорее был мир с Персией, хочу отправиться туда при первой миссии и на свободе петь с восточными соловьями», а в марте 1827 г., перед самой смертью, рвался: «я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения» [2]. Что русские писатели — подобно Лермонтову — и читатели — вроде Печорина — стремились утолить свою романтическую мечту именно в Персии, легко объясняется тем, что Персия была ближайшей к России страной Востока, с конца 1810-х годов ставшей в центре внимания общества, так как оказалась в эту пору объектом колониальных вожделений русского самодержавия. В 1818 г. впервые послано было Россией постоянное дипломатическое представительство в Персию. После войны 1826—1828 гг. русский царизм, устами А. С. Грибоедова, продиктовал Персии Туркманчайский мир, который оторвал от Персии несколько провинций и наложил на нее огромную контрибуцию. За военным завоеванием последовало экономическое завоевание Персии молодым русским торгово-промышленным капиталом. Военное и экономическое завоевание Персии Россией доставило ей безраздельное политическое преобладание, которое в половине 1830-х годов достигло своего апогея. Немудрено, что путешествие в Персию в эти годы сделалось для русского дворянина — прогулкой более безопасной, чем поездка по российским проселкам. Печорин мог утолить свою тягу к Востоку, почерпнутую

[1] Сакулин П. Н., А. И. Одоевский в неизданных письмах, письмо к отцу от 12 октября 1835 г., из Елани, в сборнике «Декабристы на каторге и в ссылке», Изд-во политкаторжан, М. 1925, стр. 172.

[2] Веневитинов Д. В., Полное собр. соч., под ред. и с примеч. В. В. Смиренского, изд. «Academia», М. — Л. 1934, стр. 326—344.



Тройка.

(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

из Байрона и из отвращения к казарменной николаевщине, самым безопасным и комфортабельным образом.

Однако и Восток не излечил тоски Печорина и не наполнил содержанием его жизнь.

«Авось где-нибудь умру по дороге», — только эта одна надежда Печорина сбылась на деле: он умер, «возвращаясь из Персии».

II. ЛИЧНОСТЬ ПЕЧОРИНА

«Я чувствую в душе моей силы необъятные» — записывает Печорин в свой «журнал» в ночь перед дуэлью с Грушницким.

За несколько дней перед тем (11 июня), анализируя свой жизненный путь, Печорин делал такое самопризнание, дышущее полной искренностью:

«Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что

иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив».

Основное в этих признаниях — сознание своей «силы» — и питаемая этим сознанием — «жажда власти», т. е. жажда применить эту силу на деле.

«Жажда власти» — здесь прежде всего жажда *действия.* В стихотворной записи «1831 года, июля 11» Лермонтов признался в этом раз на всю жизнь:

> *Мне нужно действовать, я каждый день*
> *Бессмертным сделать бы желал, как тень*
> *Великого героя,* и понять
> Я не могу, что значит — отдыхать.

А между тем, год спустя, в «Вадиме» Лермонтов с отчаянием должен был признаться: «Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много». Это настоящий крик тоски декабриста, увы, опоздавшего родиться лет на десять, и не находящего в реакционном застое 1830-х годов ни малейшего пути и способа для «действия». Этим томлением по невозможному «действию» Лермонтов обильно наделил Печорина.

Уже было отмечено, что Печорина ни в какой мере не влечет к себе тот род «действия», который был ему широко открыт его происхождением и в котором его могли бы ожидать успехи, вплоть до официального зачисления в «герои»: боевая служба и военная карьера. Он никак не метит в Ермоловы или Паскевичи, от этого его удерживает гордая независимость и человеческое достоинство, не укладывающиеся в тесные рамки военной службы при Николае I, требовавшем от всех верноподданнического холопства.

Печорин не отделяет *мысли* от *действия: мысль,* по его воззрению, есть уже зародыш действия. Вот как он рассуждает об этом в той же записи 11 июня. «Идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей



Печорин и княжна Мери.
(С рисунка В. А. Серова.)

жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

В противоположность основной дворянской группе русских «лишних людей» 1830—1840-х годов, от политического безвременья и безместности ушедших в тихое пристанище самодовлеющей абстрактной мысли (правое гегельянство), для Печорина мысль есть только сигнал к действию. Мысль только и ценна тем, что она — зерно действия. Чем глубже и богаче мысль, как первый этап в великом процессе действия, тем мучительнее переживается полный разрыв между этим первым этапом и последующими, составляющими действие в тесном смысле слова. В пример подобного страдания (гений за чиновническим столом), приводимый Печориным, Лермонтов вкладывает опыт всей своей жизни. Лермонтову и его героям «было бы совершенно дико и непонятно то преувеличенное почтение к мысли, идее, теории, которое получило такое яркое выражение в знаменитом «я мыслю, следовательно, существую» Декарта, равно как и многие другие блестящие

страницы истории философии. «Я мыслю» — из этого еще ничего не следует. Мысль, идея есть лишь зачаток действия и сама по себе отнюдь не может служить доказательством или мерилом существования. Существование самой мысли еще нуждается в доказательстве, которое дается обнаружением ее в действии» [1].

Жребий Чаадаева, Станкевича, Сатина и других людей 1820 и 1830-х годов, ушедших в область отвлеченного мышления и отстранившихся от всякого действования, так же мало привлекал Печорина, как и шумный жребий военных «действователей» типа Паскевича.

В словах Печорина о «жажде власти», пишет Д. Н. Овсянико-Куликовский, «было бы ошибкой видеть свидетельство о том, что Печорин — натура глубоко-эгоистическая и хищная, которой чужды простые человеческие сочувствия, — человек как бы антисоциальный. Напротив, другие люди с их страданиями и радостями безусловно необходимы ему, он не может обойтись без них, без участия в их жизни, как многие эгоцентрические натуры. Он человек с ярко выраженным и очень активным *социальным инстинктом*. Ему для уравновешения его гипертрофированного «я», потребны живые связи с людьми, с обществом, и всего лучше удовлетворила бы этой потребности живая и осмысленная общественная деятельность, для которой у него имеются все данные: практический ум, боевой темперамент, сильный характер, умение подчинять людей своей воле, наконец честолюбие» [2].

Замечательно одно из признаний Печорина (запись 13 июня): «Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов, вот, что я называю жизнью».

Христианское отношение к врагам изложено в евангелии от Матфея: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас и молитесь за причиняющих вам зло и изгоняющих вас» (гл. 5, ст. 25).

Отношение Печорина к врагам, — наоборот, таково, что если б Печорин был деятелем революции, его отношение к врагам, — волевое, деятельное, боевое, — получив верную

[1] Михайловский Н. К., Герой безвременья, Сочинения, т. V, СПБ 1897, стр. 342.

[2] Овсянико-Куликовский Д. Н., М. Ю. Лермонтов, П. 1914, стр. 78.

социальную направленность, было бы образцовым для революционера. Но Печорин замкнут в сфере личной жизни, и его активность расходуется впустую.

Чувствуя в себе «силы необъятные» и не видя им выхода в достойном их действии, Печорин почти с ужасом спрашивает себя (запись 13 июня):

«Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками...»

Такой участи с ужасом опасался самому себе 20-летний Лермонтов: «Моя будущность, блистательная на вид (он только что был произведен в гвардейские офицеры, что дало ему доступ в высшее общество),— в сущности, пошла и пуста. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути; мне или не представляется случая или не достает решимости» [1].

Эпоха реакции «условия и дух времени не благоприятствовали сколько-нибудь широкой и независимой общественной деятельности. Печорин поневоле остался не у дел, откуда его вечная неудовлетворенность, тоска и скука. Понятно, что ему психологически необходимо было создать себе некоторый суррогат деятельности. И он тратит свои силы попусту — в любовных интригах, в похождениях разного рода, в будировании и т. д., заменив жизнь игрою в жизнь, деятельность — спортом. На этом пути, конечно, душа большого человека мельчает, изнашивается и неудивительно, если в ней обнаружатся уклоны в патологическую сторону» [2].

Печорин не мог и не хотел переменить своей природы, в основе которой лежали воля и действенность.

Печорин, в противоположность Онегину, всюду — действователь, участник и возбудитель происшествий. На Кавказских водах Онегин, израсходовавший всю свою действенность на случайную историю с Ленским, «глядит на дымные струи», да «мыслит грустью отуманен: — Зачем я пулей в грудь не ранен?» Печорин на тех же водах завязывает трагическую историю, сам получает рану и другого ранит насмерть. В Тамани Онегин спокойно пролежал бы в мазанке контрабандистов, чистя ногти и зевая над каким-нибудь романом в ожидании корабля, — Печорин ввязался в историю и едва не

---

[1] Письмо к М. А. Лопухиной, Петербург, 23 декабря 1834.

[2] Овсянико-Куликовский Д. Н., М. Ю. Лермонтов, П. 1914, стр. 78—79.

погиб. С Вуличем Онегин не держал бы рискованного пари и вряд ли похитил бы Бэлу. Печорин — весь действие и, как дрожжи, он всюду вносит брожение: перевернул благополучное гнездо контрабандистов, поднял бурю в стакане пятигорских и кисловодских вод, увез и погубил Бэлу, стал косвенной причиной смерти ее отца, толкнул в абреки Азамата и Казбича, замутил честное безмятежие Максима Максимыча, вызвал Вулича на страшное пари.

Но вся эта действенность Печорина ему же самому представляется, в строгие часы самоанализа, каким-то пустым и праздным кипением воли и сил, единственным результатом которого являются горести и беды — для тех, с кем встречается Печорин, и новая тоска для него самого.

Печорин спрашивает себя (13 июня): «Неужели, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно — я разыгрывал жалкую роль палача или предателя».

Подобное же признание Печорин делает в «Тамани»:

«И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов. Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и — как камень едва сам не пошел ко дну». Такую роль — «необходимого лица 5 акта» — Печорин сыграл в «Бэле», в «Фаталисте», в судьбах Бэлы и Вулича.

Это свойство Печорина — вносить бурное брожение в застоявшиеся заводи жизни — у него общее с мятежно-разочарованными отщепенцами европейского Запада. Так, о своем Рене Шатобриан сообщает то же, что Печорин о себе: «Брошенный в мир, как великое зло, он распространял свое *гибельное влияние* на окружающих... Всюду, где он появлялся, он *создавал несчастия...* Он не мог пристать к берегу, чтобы не поднять бури». Герой романа Альфреда Мюссе (1810—1857) «Исповедь сына века» (1836) признается: «Делать зло. Такова была роль, назначенная мне провидением» [1].

На всем протяжении своего романа Лермонтов тщательно отмечает все проявления волевого начала личности Печорина.

Печорин изображен страстным охотником, любящим тревоги и опасности кавказской охоты не меньше, чем любили их его литературный потомок Оленин («Казаки» Л. Толстого)

---

[1] Ср. Родзевич С., Лермонтов как романист, Киев 1914.

и кавказские офицеры — Л. Н. Толстой и его сверстники[1]. Эта любовь к охоте подчеркивает волевое деятельное начало в характере Печорина. Его предшественник в ряду «лишних людей» Онегин, лишенный этого начала, даже на деревенском бездельи и от скуки не становится охотником: чтобы сражаться со скукой, в его ленивой руке не ружье, а биллиардный кий. Другие «лишние люди» — Тентетников («Мертвые души»), Обломов, Лаврецкий («Дворянское гнездо»), Рудин, Бельтов («Кто виноват» Герцена) — все в этом отношении схожи с Онегиным, а не с Печориным.

Властность отличает собой отношения Печорина к женщинам. Он смело и открыто признается (16 мая):

«Я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь».

Эта черта резко отделяет Печорина от других «лишних людей»: Онегин, Елецкий («Наложница» Боратынского), Обломов, Рудин и другие «лишние люди» Тургенева, наоборот, уступают женщине власть «над их волей и сердцем».

Печорин подчеркивает эту особенность своего отношения к женщинам, когда признается, что «не любит женщин с характером», с «упорным характером». «Их ли это дело!» — восклицает он.

В этом признании Печорина выражен характерный взгляд мужчины-повелителя и подчинителя женщины. Первоначально, в черновой рукописи, Печорин признавался, что не любит женщин с «упрямым характером»; перемена эпитета «упрямый» на «упорный» переменила психологическую характеристику: упрямство — недостаток, встречаемый обычно у людей безвольных, упорство — достоинство твердого волевого характера; сам Печорин упорен, но не упрям. Свойство властного, подчиняющего влияния на женщин роднит Печорина с Дон-Жуаном Байрона.

«*Дон-жуанизм*» Печорина — один из немногих выходов его страсти к «действию» и «властвованию» — выходов, съуженных и искривленных глухим безвременьем. Сам Печорин, будучи не в силах отдать себе отчета, зачем он «так упорно добивается любви молоденькой девочки» — княжны Мери — признавал, что «неспособен безумствовать под влиянием страсти», «смотрит на страдания и радости других», значит, и на любовь женщины, только «как на пищу, поддерживающую» его «душевные силы». «Погоня за все новою и новою

---

[1] Ср. статью Толстого Н. Н., Охота на Кавказе, М. 1922.

любовью с целью насладиться душевными движениями, еще неиспытанными, — так разрешилась активная энергия Печорина, т. е. в направлении дон-жуанства... Только, увы, и его коснулся нож анализа и потому это не то непосредственное дон-жуанство, которое еще не знает полноты счастливой любви и которое поэтому может до нее подняться, напротив, это сознательное дон-жуанство, знающее о лучшем, но неспособное его усвоить, благодаря внешним условиям, делающим человека лишним, и внутренним условиям демонической натуры. Печорин несчастен, хотя его никто не отвергает, ни Вера, ни Мери, ни Бэла» [1]. Можно бы дать подтверждение этой черты Печорина на фактах биографии самого Лермонтова. Достаточно свидетельства гр. Е. П. Ростопчиной: «Не имея возможности нравиться, он решил соблазнять или пугать и драпировался в байронизм, который был тогда в моде. Дон-Жуан сделался его героем, мало того, его образцом; он стал бить на таинственность, на мрачное и на колкости... Он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжении нескольких дней» [2]. После свидания с Лермонтовым в ордонанс-гаузе в апреле 1840 г. В. Г. Белинский писал В. П. Боткину: «Мужчин он презирает, но любит одних женщин, и в жизни только их и видит. Взгляд чисто Онегинский. Печорин — это он сам, как есть» [3].

«Властолюбие и «дон-жуанизм» Печорина были главным пунктом, на котором сосредоточила свое нападение критика правого лагеря при появлении романа, пытавшаяся доказать вредность Печорина для общественного развития. С. П. Шевырев писал в «Москвитянине»: «Апатия, следствие развращенной юности и всех пороков воспитания, породила в нем томительную скуку, скука же, сочетавшись с непомерною гордостью духа властолюбивого, произвела в Печорине злодея» [4].

В. Г. Белинский резко возражал Шевыреву и другим схожим обвинителям Печорина (в статье 1840 г.): «Какой

---

[1] Южаков С., Любовь и счастье в произведениях русской поэзии, «Северный Вестник» № 2, 1887, стр. 172, 173.

[2] Ростопчина Е. П., Письмо к Ал. Дюма, «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage» par A. Dumas, Leipzig 1859, vol. II. p. 253—255.

[3] Белинский, Письма, т. II, СПБ 1914, стр. 103.

[4] «Москвитянин» № 2, ч. 1-я, 1841, стр. 532.

страшный человек этот Печорин! — Потому что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка. — «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек...» хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа, но вы-то из чего хлопочете? за что сердитесь?.. Вы предаете его анафеме не за пороки, — в вас их больше, и в вас они чернее и позорнее, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которой он говорит о них... Этому человеку нечего бояться; в нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое. Ему другое назначение, другой путь, чем вам... Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь... Пусть он клевещет на вечные законы разума, поставляя высшее счастие в насыщенной гордости; пусть он клевещет на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клевещет на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостью, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд».

Белинский верно понял, что все противоречия, которые разрывают личность Печорина, не могут уменьшить природной силы, составляющей основу его личности. Еще вернее понял критик-демократ, что основное устремление Печорина, никак не оформленное политически, направлено, тем не менее, к живой действенности и свободе, враждебным мертвому покою дворянско-царской России. Считая Печорина врагом этого «покоя» (ср. признание Лермонтова в «Родине», 1841: «ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой... не шевелят во мне отрадного мечтанья»), правая критика в лице Шевырева силилась доказать, что «пигмей зла», Печорин, как характер, не присущ русской жизни, а есть только «призрак, отброшенный Западом». Имея это в виду, Белинский горячо защищал и органичность, и прогрессивность явления Печорина.

«Славный был малый, смею вас уверить; но только немножко странен», — говорит Максим Максимыч про Печорина.

Даже на взгляд захолустного штабс-капитана, характер Печорина соткан из противоречий и противочувствований: Максим Максимыч подметил резкую беспричинную сменяемость противоположных поступков и чувствований Печорина и не нашел объяснения его эмоциональной неуравновешенности. Ум и чувство, воля и настроение находятся у Печорина в разладе. Сторонним наблюдателям кажется, что в нем живут два, три, четыре человека с разными характерами. Сам Печорин признавал, что в нем заключены «два человека»:

«Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки со строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его» («Княжна Мери»).

«Это признание обнаруживает всего Печорина, — говорит Белинский в статье 1840 г. — В нем нет фраз, и каждое слово искренно. Бессознательно, но верно выговорил Печорин всего себя. Это человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится, и душа не запросит нового. Нет! Он вполне пережил юношеский возраст, этот период романтического взгляда на жизнь; он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя, завещая другу локон волос, не принимает слова за дело, порыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного, за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал, много любил, и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности; он много думал о жизни и по опыту знает как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит... Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: действительность — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и «хандрою», и «ипохондриею», и «мнитель-

ностью», и «сомнением», и другими словами, далеко не выражающими сущность явления, и что на языке философском называется рефлексиею... В состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самом враг уже подсматривает зародыш, анализируя его, исследует, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение и какая их цель, и к чему они ведут,— и благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бесконечность, как солнечный луч в граненом хрустале; рука подъятая для действия, как внезапно окаменелая, останавливается на взмахе и не ударяет...» Эти противоречия характера Печорина, отсутствие в нем крепкой цельности, объясняются противоречиями, характеризующими жизнь его класса — дворянства — в середине XIX столетия.

Сам Печорин рассматривает свою неустойчивость, свою двойственность, как тяжелую болезнь.

«Я сделался нравственным калекой, — говорит он, — одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого» (11 июня).

«Выражение «нравственный калека» у Лермонтова равносильно выражению «психический калека» (противополагается «физическому калеке») и вовсе не указывает на безнравственность Печорина. Это галлицизм: словом «нравственный» переведено франц. moral в смысле «психический».[1].

Печорин глубоко сознает свою двойственность: та «половина его души», которую он готов объявить даже «не существовавшей», в действительности продолжает существовать в состоянии анабиоза — жизненного оцепенения: ее силам нет выхода. Жить — в смысле действовать — для него возможно только другой «стороной души» — той, которая «к услугам каждого», потому что ее действия — светское честолюбие, дон-жуанство, обязательный дэндизм и т. д. — доступны и понятны каждому из людей общего с Печориным социального круга.

Из «двух половин» своей души Печорин, судя самого себя, более снисходителен ко второй половине — ко «второму

[1] Овсянико-Куликовский Д. Н., Лермонтов, СПБ 1914, стр. 81.

человеку», живущему в нем: «мыслящему и судящему» первого, живущего. Этим вторым своим человеком Печорин кровно близок Белинскому, Герцену и другим людям 40-х годов. Как в них, в нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения, подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. «Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения...

И ненавидим мы и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови!..

Печорин есть один из тех, к кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени» (Белинский).

Еще теснее устанавливается связь Печорина с людьми 40-х годов в сопоставлении его слов с общей характеристикой поколения, сделанной Герценом: «Отличительная черта нашей эпохи есть grübeln, мы не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем... Некогда действовать; мы переживаем беспрестанно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами, и с другими, — ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось испытующему взгляду критики. Это болезнь промежуточных эпох» [1].

В «Фаталисте» Печорин гневно обрушивается на свое поколение и на себя самого за то, что «равнодушно переходим от сомнения к сомнению», за то, что скитаемся «по земле без убеждений и гордости». Эти нападки целиком совпадают с обвинениями, высказанными Лермонтовым в «Думе» (1838). Из этих обвинений (и самообвинений) особенно важно одно: «Мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни для собственного счастья». В «Думе» этому соответствует:

К добру и злу постыдно равнодушны
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию презренные рабы.

---

[1] Герцен А. И., По поводу одной драмы.

Под «великими жертвами для блага человечества» вряд ли возможно разуметь что-нибудь иное, кроме политической борьбы, приводящей к революции: только при этом понимании приобретают полный смысл два последние стиха отрывка, приведенного из «Думы»: «рабство пред властию», «малодушие пред опасностью» и есть недуг последекабрьского поколения дворянства, склонившего колени пред Николаем I и в испуге отрекшегося от всякой связи с теми, кто 14 декабря поднял знамя восстания.

В признаниях Печорина ясно созвучие стихам Лермонтова: «Я истощил и жар души и постоянство воли» [1]; мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги» [2].

Многие признания Печорина совпадают с мыслями, выраженными П. Я. Чаадаевым в его «Философическом письме»: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня...

Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили.

Ни одна великая истина не вышла из нашей среды» [3].

В ночь перед дуэлью с Грушницким Печорин записывает в свой журнал: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни».

Перед ожидаемой смертью Печорин признает итог своей жизни и деятельности равным нулю.

---

[1] Ср. «За жар души, растраченный в пустыне» («Благодарность», 1840).

[2] Ср. «И скучно, и грустно» (1840).

[3] «Телескоп», ч. 36-я, 1836, см. также «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», под ред. М. О. Гершензона, т. II, 1913, стр. 111, 117.

Печорин, как и Онегин, представляет собою самый законченный тип «лишнего человека», т. е. человека, не находящего себе никакого дела в историческом «сегодня» и не оказывающего ни малейшего прогрессивного воздействия на свою жизненную среду. Превосходя Онегина волевым началом своей натуры и остротою своего самоанализа, Печорин этой силой своего критицизма, направленного на самопознание и на суд над самим собой, сближается с младшей группой дворянской интеллигенции 1830—1840-х годов.

Печорин был «лишний человек» для освободительного течения русской жизни, для дела демократии и крестьянского освобождения, которое стояло на дороге истории; для этого дела были не «лишни» другие люди младшей группы его поколения: Герцен, Огарев; но истинными делателями его явились уже люди 50-х годов: Чернышевский, Добролюбов и др.

Но тот же Печорин был «лишний» и для Николая I и его империи подневольного сна: он был слишком беспокойный человек, чтобы быть не лишним в этом обломовском хозяйстве рабов и господ, управляемом «мундирами голубыми». Эта двусторонняя «лишность» была особым историческим уделом Печориных. В этом была трагичность их личной судьбы, с непревзойденной остротой и правдой переданная Лермонтовым в его гениальном романе.

III. НАРУЖНОСТЬ ПЕЧОРИНА

Портрет Печорина — центральное место повести «Максим Максимыч». Для его внутренних контуров собраны здесь черты, разбросанные по четырем остальным повестям, составляющим «Героя нашего времени». Внешние линии, штрихи и краски портрета Лермонтов заимствовал в значительной части с самого себя.

Сличение набросанного офицером-путешественником портрета Печорина с зарисовками и эскизами Лермонтова в воспоминаниях о нем подтверждает это заимствование. «Он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине» — утверждает И. Тургенев. Однако, перенеся на Печорина некоторые собственные черты, Лермонтов придал им оттенок усталости, утомленности, жизненной исчерпанности. «Он был среднего роста, — начинает офицер-путешественник свою зарисовку Печорина: — стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побеж-

денное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными».

Печорин из «Княгини Лиговской» «был небольшого роста, широк в плечах, вообще нескладен и казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению». Товарищ Лермонтова по юнкерской школе А. Меринский отмечает: «невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого, и не знавшего, кто он, невольно на нем останавливалось»[1]. И. С. Тургенев называет «фигуру» Лермонтова «приземистой» с «сутулыми, широкими плечами»; И. И. Панаев подтверждает: «Он был небольшого роста, плотного сложения»[2]. Из этих собственных черт Лермонтов отдал Печорину рост, широкие плечи, крепкость сложения, но вместо «нескладности», «сутулости» и «приземистости» наделил его «тонкой талией». Впрочем, «нескладность» Лермонтова остается под сомнением: Боденштедт отмечает в Лермонтове такую «ловкость» движений, будто он «был вовсе без костей, хотя плечи и грудь у него были довольно широкие»[3]. «Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно-чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека» — эта зарисовка платья Печорина живо напоминает заметку Фр. Боденштедта, встретившегося с Лермонтовым в 1840 г.: «Одет он был не в парадную форму: на шее небрежно повязан черный платок; военный сюртук не нов и не до верху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести белье. Эполет на нем не было»[4].

«Его (Печорина) запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке» —зарисовывает офицер-путешественник.

Лермонтов разделяет здесь мнение Байрона, что маленькие руки — вернейший признак аристократического происхождения. В 4 песне «Дон-Жуана» (октава XV) читаем про Дон-Жуана и Гаидэ: «Их маленькие, прекрасно сформированные руки свидетельствовали о равном достоинстве их крови»[5]. Сам Байрон имел предрассудок гордиться своими красивыми маленькими руками и был доволен, когда Али-

---

[1] «Атеней», М. 1858, ч. 6-я, стр. 286.

[2] «Литературные воспоминания», «Современник» № 2, 1861, стр. 657.

[3] «Современник» № 2. 1861, стр. 326.

[4] Там же, стр. 326—327.

[5] Байрон, Соч., пер. А. Соколовского, т. III, изд. Гербеля, СПБ 1884, стр. 162.

Паша увидел в этом доказательство знатного происхождения своего гостя. Такими же руками обладал сам Лермонтов: Боденштедт называет их «нежными и выхоленными».

Печорин «сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала».

В романе О. де Бальзака (1799—1850) «Женщина тридцати лет» («La femme de 30 ans») читаем про героиню романа, маркизу д'Эглемон: «Манера, с какою маркиза опиралась локтями на ручки кресла и как будто играла своими пальцами, соединяя руки кончиками их; изгиб ее шеи; то, как свободно и небрежно держала она стан утомленный, но все-таки гибкий, как будто изящно переломившийся в кресле; то, как небрежно она держала ноги; беззаботность ее позы, ее движения, полные усталости, — все говорило, что у этой женщины нет интереса в жизни, что она совсем не знала радостей любви, но что о них мечтала, и что она склоняется под тяжестью воспоминаний, гнетущих ее память; все говорило, что эта женщина давно потеряла всякую надежду на будущее или на самое себя, что она ничем не занята и думает, что ничего не может быть там, где она видит пустоту».

Вызывая в памяти читателя всем известный в конце 1830-х годов бальзаковский образ, исполненный пресыщения и безочарования, Лермонтов подчеркивал этой параллелью глубокую разочарованность Печорина в жизни и его безнадежное неверие в будущее.

Улыбка и глаза Печорина составляют центр его портрета, зарисованного офицером-путешественником.

«В его улыбке было что-то детское... Белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб... Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади».

Про улыбку Лермонтова Тургенев пишет, что его «взор странно не согласовался с выражением почти детски-нежных и выдававшихся губ». По наблюдению Боденштедта — «гладкие белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб» Лермонтова [1]. М. Н. Лонгинов поправляет Боденштедта: «На самом деле у Лермонтова посреди темени был клок более светлых волос, почему некоторые считали его блондином. Волосы Лермонтова были темнокаштановые, почти

---

[1] «Современник» № 2, 1861, стр. 326.

черные. Вот почему другие называют его брюнетом»[1]. А. П. Шан-Гирей вспоминает маленького Лермонтова — «с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль»[2]. Лермонтов сохранил за Печориным собственную двуцветность волос, только изменив их сочетание: у Лермонтова — «темнокаштановые, почти черные волосы» на голове с белокурым «клоком» надо лбом, у Печорина, наоборот, «белокурые волосы» на голове и черные брови и усы. У обоих — высокий прекрасный лоб («широкий и большой» у Лермонтова, по наблюдению Панаева). Лермонтов сам указывает, что эти особенности нужны ему, чтоб подчеркнуть аристократическое происхождение своего героя.

Глазам Печорина Лермонтов уделяет особое внимание. Они — центр его портрета; больше того: они сами — его портрет: «Они не смеялись, когда он смеялся... Это признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый — оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно-спокоен».

Сходство глаз Печорина с глазами Лермонтова так велико, что некоторые мемуаристы (Тургенев, Меринский) прямо ссылаются на Печорина.

«Карим глазам» Печорина соответствуют по цвету глаза Лермонтова — «карие» (М. Е. Меликов), «темные» (Тургенев), «черные» (Шан-Гирей, Меринский, Панаев); в черновом автографе у Печорина — «черные глаза».

Описывая встречу с Лермонтовым на балу, Тургенев пишет: «Слова: «глаза его (Печорина) не смеялись, когда он смеялся» и т. д., действительно, применялись к нему (Лермонтову). Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих». Наблюдение Боденштедта сходно: «Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека». Необыкновенный фосфорический блеск глаз

[1] «Русская Старина», т. VII. кн. 3-я. 1873. стр. 391.
[2] «Русское Обозрение», т. VIII, 1890, стр. 725.

Печорина, властная приковывавшая сила его взора сейчас же вспоминаются, как только пробегаешь страницы воспоминаний о Лермонтове: «Он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти с умными, черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова»[1]. Убийца Лермонтова, Мартынов, утверждает: «Обыкновенное выражение глаз в покое несколько томное; но как скоро он воодушевлялся какими-нибудь проказами или школьничеством, глаза эти начинали бегать с такой быстротой, что одни белки оставались на месте, зрачки же передвигались справа налево, и эта безостановочная работа с одного человека на другого производилась иногда по нескольку минут сряду. Ничего подобного я у других людей не видал»[2].

Взгляд Печорина, «проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса». Это же впечатление выносили многие от глаз Лермонтова: школьный товарищ Меринский («взгляд его глаз, как он сам выразился о Печорине, был иногда тяжел»), Тургенев («их тяжелый взор»), Ю. Самарин («его взор тяжел и чувствовать на себе этот взор утомительно»). «Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом» (И. Панаев).

Портрет Печорина, вобрав в себя многие наружные черты самого Лермонтова, весь выдержан в тоне портрета аристократа, человека старой дворянской породы, выраженной как в физических признаках («маленькая рука», «благородный лоб»), так и во внешнем обиходе («ослепительно-чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека»). Этот тон зарисовки Печорина человеком одного с ним класса продолжается и в его самозарисовке в «Княжне Мери»: это тон самого Лермонтова, делающий Печорина образом автобиографически-емким. Однако Лермонтов всячески удерживал себя от романтизации Печорина и вытравлял из текста романтические налеты. В черновике, за сравнением Печорина с бальзаковской женщиной, следовало большое дополнительное

---

[1] Меликов М. Е., Заметки и воспоминания художника-живописца, «Русская Старина», т. 36, кн. 6-я, 1895, стр. 648.

[2] Из бумаг Н. С. Мартынова, «Русский Архив», кн. 8-я, 1893, стр. 586.

сравнение: «Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, то, конечно, Печорина можно было сравнить только с тигром. (То ласковый, гибкий, уклончивый, игривый, то жестокий и бешеный и всегда убегающий общества себе подобных). Сильный и гибкий, ласковый и мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушению минуты, всегда готовый на долгую борьбу, иногда обращенный в бегство, но не способный покориться, не скучающий один в пустыне с самим собою, а в обществе себе подобных требующий (желающий) беспрекословной покорности, по крайней мере, таким, казалось мне, должен был быть его характер физический, то есть тот, который зависит от наших нервов и от более или менее скорого обращения крови. Душа — другое дело; душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого — злодеи, толпа и люди высокой добродетели. В этом отношении Печорин принадлежал к толпе, и если он не стал ни злодеем, ни святым, то это я уверен — от лени». Все это сложное сравнение вычеркнуто за романтическую изысканность. Зарисовка Печорина должна быть проста и самопоказательна. Такой она и стала в романе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Еще первым исследователям жизни и творчества Лермонтова было ясно, что Печорин замыкает собой целый ряд творческих образов поэта — от героя «Исповеди» до Арбенина («Маскарад»),— и что нитью, соединяющей все эти образы, являются переживания и мысли самого поэта.

Подведя итог изучению Печорина в его жизненном пути и в раскрытии его личности, уместно привести обобщающее наблюдение А. Д. Галахова над творчеством Лермонтова:

«Главные лица, выведенные поэтом, представляют поразительное между собой сходство, доходящее почти до тождества. Можно сказать, что это один и тот же образ, являющийся в разных возрастах и ролях, в разные времена и у разных народов, под разными именами, а иногда и под одним именем. Поэт изображает его с одной стороны или со многих; рассматривает многие действия из его жизни или один только факт; берет одну способность духа или многие способности... Саша Арбенин оказался бы в зрелом возрасте точно таковым, каковыми оказались двое других Арбениных, Радин, Печорин; и наоборот, эти последние в возрасте детском походили бы как нельзя больше на Сашу Арбенина. Разным образом все эти

лица, Арбенины, Радин, Печорин, будучи европейцами служат подлинниками азиатцев — Измаила, Хаджи-Абрека, Мцыри, которые, в свою очередь, могли бы сделаться образцами для своих подлинников. Боярин Орша и Арсений, люди XVI века, ярко отражаются в своих потомках — Печорине и Арбенине, жителях XIX века, современниках Лермонтова. Семнадцатилетняя Нина, в «Сказке для детей», имеет такое же значение между женщинами. Факт, рассказанный в жизни любого лица (например Мцыри), относится к одной категории с целым рядом фактов из жизни другого (например Печорина): по первому можно определить второе и наоборот... Одна частность указывает целое, один момент — все течение жизни, одна стихия — весь состав духа, указывает не только в сфере одного и того же характера, но и в сфере всех прочих: ибо эти прочие равны ему...

Творя идеал (точнее сказать: образ. — *С. Д.*), воплощающий в себе понятие о современном человеке, поэт вместе с тем рисовал и самого себя, подходящего под это понятие... «Тоска, тяготеющая над умом», грудь, «опустошенная тоскою», этой развалиной страстей, «душа, безжизненная и вместе гордая», — вот признаки, общие героям и певцу их... Лермонтов положительно обнаруживает свою родственную связь с любимым идеалом (образом. — *С. Д.*). Обрисовав в «Сказке для детей» характер Нины, этой как бы родной сестры Арбениных, Печориных и Радиных, он замечает:

Такие души я любил давно
Отыскивать по свету на свободе:
Я сам ведь был немножко в этом роде...

Родственное отношение, существующее между образами Арбенина, Печорина, Измаила и других, существует также между ними и творцом их.

Они зеркало его самого, и он сам верное их отражение и воспроизведение»[1].

Но как ни близко отражает заключительный из этих образов — Печорин — мысль и жизненный уклад самого Лермонтова, между Лермонтовым и его героем не стоит и не может стоять знак равенства.

По замечательному определению Белинского, в своем романе Лермонтов «объективировал современное общество и его представителей». «Герой нашего времени» — утверждал великий критик (письмо к В. П. Боткину от 13 июня

---

[1] «Русский Вестник», 1858, т. 16, кн. 1-я, стр. 85, 86, 87, 92.

1840 г.) — «должен быть таков. Его характер — или решительное бездействие, или пустая деятельность».

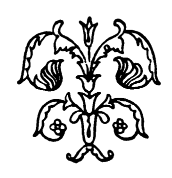
А. М. Горький с большой глубиной сказал о Лермонтове и Печорине и их взаимоотношениях.

«Между ним и его автором нет уже того полного слияния в одно лицо, которое мы находим между Пушкиным и Онегиным. Чем это объясняется? Прежде всего тем, что Лермонтов — сам недопетая песня и не успел весь высказаться. Печорин был для него слишком узок, следуя правде жизни, поэт не мог наделить своего героя всем, что носил в своей душе, а если бы он сделал это — Печорин был бы неправдив. Иначе говоря — Лермонтов был и шире и глубже своего героя. Пушкин еще любуется Онегиным, Лермонтов уже относится к своему герою полуравнодушно, Печорин близок ему, поскольку в Лермонтове есть черты пессимизма, но пессимизм в Лермонтове — действительное чувство, в этом пессимизме ясно звучит презрение к современности, отрицание ее, жажда борьбы и тоска и отчаяние от сознания одиночества, от сознания бессилия. Его пессимизм весь направлен на светское общество»[1]. Как Печорин, Лермонтов мог бы сказать про себя: «Я чувствую в душе моей силы необъятные», но в то время, как Печорин не находил и до конца не нашел выхода этим силам, Лермонтов находил и нашел исход этим поистине «необъятным силам» в гениальном творчестве, в поэзии, которую он осознавал как гражданский подвиг гнева и протеста.

Поэзия Лермонтова была его великим делом, его борьбой за счастье и свободу народа.

---

[1] А. М. Горький о М. Ю. Лермонтове, «Известия» № 6211 от 24 февраля 1937 г.





ГЕРОЙ нашего времени» есть, по определению самого Лермонтова, «история души человеческой», — другими словами, этот роман есть история Печорина. В нем — все содержание романа. Другие действующие лица романа расположены вокруг Печорина, как вокруг центра, и связаны с ним, как радиусами, своими характерами, действиями, чувствами и мыслями.

Трех женщин и трех мужчин поставил Лермонтов в особенно живую, хотя и во всем противоположную, связь с Печориным: с одной стороны — Максим Максимыч, Грушницкий и Вернер, с другой стороны — Бэла, Вера и княжна Мери.

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Лермонтов в лице пятидесятилетнего штабс-капитана Максима Максимыча дает фигуру типичного русского армейского офицера, всю жизнь прослужившего на Кавказе. Если принять 1838 год за время встречи Максима Максимыча с офицером — автором записок (см. об этой датировке в очерке «Печорина»), то военная биография Максима Максимыча складывается следующим образом.

Он родился около 1788 г. или немногим позже, — судя по всему в небогатой дворянской семье и был уже в чине

подпоручика (второй офицерский чин), когда генерал Алексей Петрович Ермолов (1772—1861) «приехал на Линию», т. е. на северо-кавказский (по Тереку и Кубани) театр войны русских с горцами. При Ермолове, «за дела против горцев», Максим Максимыч получил следующих «два чина», т. е. поручика и штабс-капитана. В этом небольшом чине (9 класса) Максим Максимыч оставался и через десять лет, в год встречи с офицером — издателем «Журнала Печорина».

В 1841 г. Лермонтов попытался набросать типовой портрет «старого кавказца» в небольшом очерке «Кавказец», предназначенном для издания А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры». В этом очерке, запрещенном цензурой [1], читаем: «Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор [2]. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок... Настоящий кавказец — человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. Он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером. Он... воспламенился страстью к Кавказу. Он с десятью товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице; тут влюбился, как следует, в казачку — пока, до экспедиции; все прекрасно! Сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и к его великой печали горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем, жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! Промелькнуло пять,

---

[1] Напечатан Н. О. Лернером со списка кн. Н. А. Долгорукова, «Минувшие дни» № 4, 1928, стр. 22—24.

[2] Старинный чин, предшествовавший чину подполковника.

шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно-храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды. Между тем, хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит!.. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову на камень, а ноги выставляет *на пенсион;* это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако, останавливается всегда на почтовых станциях, чтобы поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий,* даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его не беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромен — но ведь кто же ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом 200 верст и что никакое ружье не возьмет на 400 сажен в цель? Но, увы, большею частью он слагает свои косточки в земле басурманской».

В очерке «Кавказец» (1841) и в образе Максима Максимыча (1838) Лермонтов дал портрет одного и того же кавказского служаки — офицера из армейских полков, на которых ложилась вся тяжесть нескончаемых кровавых буден бесконечно тянувшейся кавказской войны. Но и в самой композиции позднейшего портрета, и в его красках, и в общем его колорите есть важные, существенные отличия от портрета, писанного в более раннее время (1838).

Максим Максимыч, примерно, лет на десять старше офицера, изображенного в «Кавказце». Он показан Лермонтовым, как непоколебимый служака, привыкший относиться к войне, как к делу службы, которое подлежит немедленному исполнению без всяких рассуждений. Он умен и наблюдателен, но он не позволяет себе никакого критического подхода к тому, что его окружает и в чем проходит его жизнь. Его

воззрения на своих противников, на горцев, в войне с которыми проходит вся его жизнь, являются прямой копией казенного воззрения на них, принятого в верхних официальных сферах (см. очерк «Кавказ и кавказцы»). Лишь одно свойство горцев способен Максим Максимыч наблюсти посвоему, лишь одно их качество склонен он признать по собственному опыту и оценить по собственной оценке: их храбрость. Максим Максимыч показан Лермонтовым, как непоколебимый «ермоловец», видевший в ермоловском режиме обетованное время кавказской войны. Старый штабс-капитан не ощущает не только на других, но и на себе самом никаких изъянов социально-политического механизма царской России. Он предан службе весь, всецело — и когда, при встрече с Печориным во Владикавказе, он немного замедлил с посещением коменданта, старый служака был подавлен и смущен этим до крайности: он «в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*». Вся его жизнь сполна отдана «казенной надобности», — и он ни разу не поставил перед собой вопроса, «надобна» ли ему самому эта «казенная надобность».



Военный с трубкой.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

В «Кавказце» Лермонтов дал *типовой* портрет кавказского офицера, составленный из жизненных черт многих сотен Максимов Максимычей.

Лермонтов писал его на два с половиной года позднее портрета Максима Максимыча, и выбрал для него более острый рисунок, взял более едкие краски. Колорит портрета не вызывает никаких сомнений в том, что в глазах Лермонтова исторический жребий кавказского офицера служаки типа Максима Максимыча глубоко печален: с горькой иронией (она и составляет основной колорит портрета) Лермонтов рисует этого чернорабочего войны, который за всю свою тяжелую

службу получил одну награду от царя — опасное право — выставить под пули свои ноги «на пенсион».

Портрет 1841 г. — при всей схожести с более ранним портретом Максима Максимыча, — обобщая его черты до типового «кавказского офицера», смывал с этого лица последний лоск патриотической романтики, некогда покрывавшей портреты «кавказских офицеров» у Марлинского и у самого Лермонтова (офицер в «Измаил-бее»).

Лицо Максима Максимыча на портрете 1841 г. покрыто уже тем серым налетом жизненных обид и разочарований, которого еще почти не было на портрете 1838 г.

Рисуя в 1841 г. портрет «Кавказца», одного из Максимов Максимычей, Лермонтов мог бы обратиться к нему с тем вопросом, с каким обращается поэт-современник Лермонтова — Н. П. Огарев в своем стихотворении «Кавказскому офицеру»:

Тупой ли долг, любви ль печаль
Тебя когда-то гнали вдаль?
Или безвыходное горе?
Иль жажда молодой мечты —
Увидеть горные хребты
И посмотреть на юг и сине море?
И, возвратясь из тех сторон,
Ты, может, мыслью удручен,
Что — раб безумия и века —
Ты на войне был палачом,
И стало жаль тебе потом,
Что ни с чего зарезал человека?

Этот самый вопрос Лермонтов задал в «Валерике», описывая сражение с чеченцами, в котором сам принимал участие.

В образе Максим Максимыча есть уже черты, предвещающие глубокую горечь «Кавказца», написанного в 1841 г.

Максим Максимыч чувствует себя одиноким, с грустью сознает, что это одиночество неизбежно в условиях его жизненного жребия. Он признается встреченному им офицеру: «Надо вам сказать, что у меня нет семейства, об отце и матери я лет 12 уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше...»

Бессемейность была уделом старых кавказских служак типа Максима Максимыча. В очерке «Кавказец» Лермонтов пишет: «Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки (от пьянства. — *С. Д.)*. Материальная необеспеченность и бытовые условия военной службы в стране с

враждебным чужим населением обрекли рядового кавказского офицера на безбрачие. «Нехорошо... когда «ломовик» (рядовой офицер-армеец. — *С. Д.*) заведет сожительницу; да втянется, приживет трех-четырех ребят, и ради детворы — женится... Ну, такой уж совсем пропащий, и как быть, и что делать не знает. Жена его — не то дама, не то — девка; показывать ее стыдно, а не показывать — нельзя; грамоте она не знает, а учиться поздно. А тут еще дети пищат, кормить, одевать надо, а в хозяйстве-то: «гусь да курица, крест да пуговица!» — и оборачивайся как знаешь! Переменить же службу, пристроиться куда-либо нечего и думать: бедняк так подготовлен, что только и годится для бродячей военной службы. А что будет, если убьют его прежде выслуги пенсии? Семья умирай с голоду, детишки неповинные — ступай по миру!» [1]. В своем рассказе о посещении Тамани в 1840 г. декабрист Лорер рассказывает «грустную, но обыкновенную у нас на Руси повесть» о семейном старике-офицере, дошедшем до вопиющей нищеты [2]. Чтобы содержать семью, многосемейному офицеру приходилось прибегать к незаконным поборам и взяткам: «Детей, слава богу, у нас нет: бедному служащему человеку дети не находка: заглушают своим криком голос совести» — писал известный кавказский офицер Н. П. Колюбакин своему ратному товарищу И. Ф. Хлопову [3]. Привязанность к Кавказу, трудность и дороговизна сообщений с Россией часто навсегда отрезывали холостого кавказца от его родного дома в России. Письменные сношения, за неисправностью почты, также сходили на нет. (Ср. стихотворение Лермонтова «Завещание».)

В отношении Максима Максимыча к черкешенке Бэле проявляется его неудовлетворенная потребность в женском привете, в ласковом внимании, в семейственности, в отцовстве. Лермонтов с необыкновенной правдой и вместе красотой обнаружил в старом кавказце эту его потребность, а Белинский в статье 1840 г. с неменьшей правдой и красотой ее истолковал.

Максим Максимыч — «добрый простак, который и не подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и благороден он. Он, грубый солдат, любуется Бэлою, как

---

[1] Ливенцов, Воспоминания о службе на Кавказе в 1840-х годах, «Русское Обозрение» № 4, 1894, стр. 753.
[2] «Русский Архив». кн. 2-я, 1874, стр. 662—663.
[3] Там же, столб. 951.

прекрасным дитятею, любит ее, как милую дочь, — и за что, — спросите его, так он ответит вам: «не то, чтобы любил, а так — глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила так, как Бэла — Печорина; ему грустно, что она не вспоминала о нем перед смертью, хоть он и сам сознается, что это с его стороны не совсем справедливое требование... Останавливаться ли на этих чертах, столь полных бесконечностью? Нет, они говорят сами за себя; а те, для кого они немы, те не стоят, чтоб тратить с ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всех доступна: у большей части людей глаза так грубы, что на них действует только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная...»

Лермонтов дал в Максиме Максимыче крепкий реалистический образ, прочно стоящий на исторической почве.

В самых взаимоотношениях его с Печориным Лермонтовым верно соблюдена правильная социальная пропорция отношений богатого аристократа — гвардейца, для которого пребывание на Кавказе — быстрый шаг к карьере или искание сильных ощущений, и бедного незнатного армейского офицера, для которого служба на Кавказе — необходимость тяжелая, с которой связаны материальные условия его существования. Объединяя Печорина в одну социальную группу с офицером-путешественником, Максим Максимыч шлет этой группе горький упрек от лица своей группы — небогатых и незнатных армейцев. «Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще покамест под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату».

Верно показав Максима Максимыча как человека своей эпохи, как представителя своей среды со всеми, свойственными ей в данное время, предрассудками, со всей ее ограниченностью, Лермонтов вместе с тем с необыкновенной глубиной вскрыл большое человеческое содержание в этом линейном офицере.

Максим Максимыч, по Белинскому (статья 1840 г.), тип «старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский. Максим Максимыч получил от природы человеческую душу, человеческое сердце, но эта душа и это сердце отлились в особую форму, которая так и говорит вам о многих годах тяжелой

и трудовой службы, о кровавых битвах, о затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях, где нет других человеческих лиц, кроме подчиненных солдат да заходящих для мены черкесов. И все это высказывается в нем не в грубых поговорках, в роде «чорт возьми», и не в военных восклицаниях в роде «тысяча бомб», беспрестанно повторяемых, не в попойках и не в курении табака, а во взгляде на вещи, приобретенном навыком и родом жизни, и в этой манере поступков и выражения, которые должны быть необходимым результатом взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозор Максима Максимыча очень ограничен; но причина этой ограниченности не в его натуре, а в его развитии. Для него «жить» значит «служить», и служить на Кавказе. Но познакомьтесь с ним получше, — и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нежное сердце бьется в железной груди этого, повидимому, очерствевшего человека; вы увидите, как он каким-то инстинктом понимает все человеческое и принимает в нем горячее участие; как, вопреки собственному сознанию, душа его жаждет любви и сочувствия, — и вы от души полюбите простого, доброго, грубого в своих манерах, лаконического в словах Максима Максимыча».

Для всего романа Максим Максимыч является как бы выразителем объективности, правдивости и здравого смысла. Вот пример: Максим Максимыч внимательно выслушал рассуждения Печорина о фатализме, но отвечал: «Да-с, конечно-с! Это штука довольна мудреная!.. Впрочем эти азиатские курки довольно часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем...». Мистико-философскую теорию о предопределении, развитую Печориным для объяснения странного случая с офицером Вуличем, Максим Максимыч ранил насмерть и дал простое, точное объяснение так называемому «странному происшествию».

Личности Печорина и Максима Максимыча — контрастны по своему жизненному положению, психологическому содержанию и по месту, занимаемому ими в композиции романа, — контрастны не менее, чем Дон-Кихот и Санчо-Панса, эти образцы жизненного и литературного контраста.

Противопоставление Максима Максимыча Печорину сделалось любимым приемом критиков, публицистов и литературоведов, писавших о «Герое нашего времени», — причем в этих противопоставлениях выражалось обычно с наибольшей яркостью общественно-политическое мировоззрение самих противопоставителей.

Противоположение личности Максима Максимыча личности Печорина впервые резко высказано С. П. Шевыревым. Печорин для этого критика-славянофила — злое порождение своевольного «безбожного запада» с его идеями прогресса, политической свободы и т. д.: «Апатия, следствие развращенной юности и всех пороков воспитания, — породила в нем томительную скуку, скука же сочетавшись с непомерною гордостью духа властолюбивого произвела в Печорине злодея». Наоборот, необразованный, патриархальный, примитивный Максим Максимыч — в глазах Шевырева — одна из опор русской жизни — явление светлое и положительное: «Какой цельный характер коренного русского добряка, в которого не проникла тонкая зараза западного образования; который при мнимой наружной холодности воина, наглядевшегося на опасности, сохранил весь пыл, всю жизнь души; который любит природу внутренно, ею не восхищаясь, любит музыку пули, потому что сердце его бьется при этом сильнее. Как он ходит за больною Бэлою, как утешает ее. С каким нетерпением ждет старого знакомца Печорина, услышав о его возврате! Как грустно ему, что Бэла при смерти не вспомнила о нем! Как тяжко его сердцу, когда Печорин равнодушно протянул ему холодную руку. Как он верит еще в чувства любви и дружбы! Свежая, непочатая природа! Чистая детская душа в старом воине! Вот тип этого характера, в котором отзывается наша древняя Русь!» [1].

Это много раз и многими повторенное противоположение Печорина и Максима Максимыча Аполлон Григорьев развил впоследствии в целую теорию «хищного» и «смиренного» типов в русской жизни, относя к первому Алеко, Онегина, Печорина и других протестантов и мятежников отщепенцев или выходцев из своего класса и причисляя ко второму типу консервативных верноподданных своего класса — Ив. П. Белкина, Гринева и др.

Однако тот же Аполлон Григорьев должен был сам же внести резкое ограничение в свою апологию Максима Максимыча и указать на прогрессивное значение Печорина для русской жизни и ее здорового развития.

«Но все-таки он — сила и выражение силы, без которой жизнь закисла бы в благодушестговании Максимов Максимычей, хотя и героической, но отрицательно-героической безответности, в том смирении, которое легко обращается у нас из высокого в баранье» [2].

---

[1] «Москвитянин» № 2, ч. I, 1841, стр. 524.

[2] «Время» № 12, 1862, стр. 31.

Прямое отражение лермонтовского штабс-капитана Максима Максимыча можно усмотреть в капитане Хлопове в рассказе Л. Н. Толстого «Набег» (1852): Хлопов дан также в противоположении мятущимся офицерам из образованного дворянского круга. Отповедь против предпочтительного противопоставления Максима Максимыча Печорину высказал А. Евлахов в своей книге «Надорванная душа» [1]. «Как-то даже странно сопоставлять его, это любимое детище поэта, этот гордый и прекрасный образ, беспощадно преследовавший его воображение то в том, то в ином облачении (Сашка, Арсений, Измаил-бей, Мцыри, Арбенин, Демон), образ, которому он отдал весь свой гений, в который вложил всю силу своего мощного дарования, — как-то даже странно, сопоставлять его со случайным, хотя и вправду добрым, «смирным» штабс-капитаном».

Безоговорочная апология Максима Максимыча всегда имела целью развенчать Печорина, ненадежного с точки зрения политического благомыслия и морального шаблона.

Только одному В. Г. Белинскому удалось найти и указать настоящее место Максиму Максимычу и Печорину и в романе Лермонтова, и в русской жизни: высоко оценив душевные качества, простоту и мужество первого, великий критик, как никто, сумел показать прогрессивное значение неуемной мысли и неукротимой воли Печорина, не находивших применения в царской России.

ГРУШНИЦКИЙ

Юнкер Грушницкий — вторая контрастная фигура, поставленная Лермонтовым подле Печорина: как Максим Максимыч контрастирует с ним в «Бэле» и «Максиме Максимыче», так Грушницкий составляет контраст Печорину в «Княжне Мери». Контрастирование Максима Максимыча основано на противоположности его Печорину по возрасту, характеру, социальному положению, образованию, — и эта контрастность прекрасно осознается и Печориным, и Максимом Максимычем, — но не мешает им обоим питать друг к другу чувства уважения и дружественности. Контрастность между Печориным и Грушницким, на первый взгляд, кажется гораздо менее значительной: Грушницкий всего на пять лет моложе Печорина, он живет, повидимому, в кругу тех же

[1] Евлахов А., Надорванная душа, Ейск 1914, глава «К апологии Печорина», стр. 3.

умственных и моральных интересов, в каких живет Печорин, он ощущает себя человеком того же поколения и той же культурной среды, к которым принадлежит сам Печорин. На деле — контрастность между Грушницким и Печориным, не будучи столь прямой и определенной, как между ним и Максимом Максимычем, является более резкой: кажущаяся близость их культурных и социальных позиций есть близость мнимая: между ними скоро обнаруживается настоящая — психологическая, культурная, социальная пропасть, ставящая их, как явных противников, друг против друга с оружием в руках.

Эта противоположность Печорина и Грушницкого, раскрытая Лермонтовым со всей полнотой психологической и исторической правды, доведена им до такой обобщающей показательности, что дает право в контрасте между Печориным и Грушницким видеть противоположность *личности* и *личины, индивидуальности* и *подражательности*, *свободной мысли* и *следования трафаретам*.

В этом смысле, весь образ Грушницкого у Лермонтова это «мысль, и даже скорбная мысль, о человеке, который боится быть собою, и думая, не хочет додуматься до конца» [1].

Образ Грушницкого построен у Лермонтова подобно образу Максима Максимыча, на строго реальной почве — и дышит историческим воздухом эпохи.

Университетский товарищ Лермонтова, друг Герцена и Огарева, Н. М. Сатин (1814—1873), пишет: «Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери и Грушницкого, и особенно доктора Майера»[2]. Прототипами Грушницкого современники Лермонтова называли Н. П. Колюбакина (1812—1868) и убийцу Лермонтова, Н. С. Мартынова.

В чертах личности и жизни Колюбакина есть, действительно, немало общего с Грушницким. Он был сослан на Кавказ и «явился в Нижегородский драгунский полк», в котором служил сам Лермонтов во время первой ссылки, «рядовым, разжалованным из поручиков Оренбургского уланского полка за дерзость против полкового командира». В 1837 г. он был вторично произведен в офицеры. Бешеной вспыльчивостью своего характера, три раза доводившей его до дуэлей, он был известен даже Николаю I, который называл его «немирный Колюбакин» [3]. По словам его жены, Колюбакин «ни перед

---

[1] Анненский И., Вторая книга отражений, СПБ 1909, стр. 28.
[2] Сборник «Почин», 1895, стр. 239.
[3] Потто В., История 44-го драгунск. Нижегородск. полка, т. IV, СПБ 1894, стр. 59 и 60.

кем не гнулся; солдатская шинель ни мало не стесняла его, он попрежнему держал голову высоко и всем смотрел прямо в глаза» [1]. «Его избегали, потому что, по общему мнению, с ним трудно ужиться. Его неуживчивость наделала ему много врагов. В то же время он отличается самою блестящею храбростью, покрыт ранами, из которых, к несчастью, третья доля получена им на дуэлях, и всегда ищет новых» [2]. «Н. П. Колюбакин был другом Марлинского и в способе выражаться носил в себе следы влияния этой дружбы» [3]. В 1837 г., после одного дела с горцами, где был тяжело ранен в ногу, Колюбакин, еще до производства в офицеры, отправился для лечения своей раны в Пятигорск и здесь познакомился с Лермонтовым [4]. На Н. П. Колюбакина (впоследствии генерала, кутаисского и эриванского губернатора и сенатора), как на прототип Грушницкого, указывают А. П. Шан-Гирей, М. Н. Лонгинов и др.; его же, конечно, имеет в виду и Сатин.



Юнкер Хомутов.

(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

Предание о Мартынове идет от секунданта при «вечно-печальной дуэли» Глебова и так передано Фридрихом Боденштедтом: «Противник его (Лермонтова) принял на свой счет некоторые намеки в романе «Герой нашего времени» и оскорбился ими, как касавшимися притом и его семейства. В этом последнем смысле слышал я эту историю от секунданта Лермонтова,

---

[1] Воспоминания А. А. Колюбакиной, «Исторический Вестник», кн. 11-я, 1894, стр. 382.

[2] «Extrait de souvenirs intîmes d'une compagne au Caucase» par comte Const. de Benkendorff; цит. по «Русскому Архиву», 1874, кн. 2-я, столб. 955.

[3] П. И. Б(артенев), там же, столб. 957.

[4] См. «Русск. биографич. словарь», том Кнаппе — Кюхельбекер, СПБ 1903, стр. 94.

г. Г[лебова], который и закрыл глаза своему убитому другу. Очень вероятно что Лермонтов, обрисовавший себя немножко яркими красками в главном герое этого романа, списал с натуры и других действующих лиц, так что прототипам их не трудно было узнать себя» [1].

В личности Мартынова, поскольку она известна из мемуарной литературы и из сочинений самого Мартынова [2], без труда находится сходство с личностью, вкусами, речевыми повадками и поведением Грушницкого. Так, стихи Мартынова представляют ненамеренную пародию на кавказские мотивы Марлинского и Лермонтова:

Вот офицер прилег на бурке
С ученой книгою в руках,
А сам мечтает о мазурке,
О Пятигорске, о балах.

Ему все грезится блондинка,
В нее он по уши влюблен,
Вот он героем поединка,
Гвардеец тотчас удален;

Мечты сменяются мечтами,
Воображенью дан простор,
И путь, усеянный цветами,
Он проскакал во весь опор [3].

ЧЕЧЕНСКАЯ ПЕСНЯ (1840).

...Я клянуся муллой (!)
И кровавой каллой (!)
И отрадой небесных лучей;
В целом мире творца
Нет прекрасней лица,
Не видал я подобных очей!..

. . . .

Я убью узденя!
Не дожить ему дня!
Дева, плачь ты заранeй о нем:
Как безумцу любовь,
Мне нужна его кровь,
С ним на свете нам тесно вдвоем! [4]

Оба стихотворения — прямое и пошлое подражание Лермонтову — могли бы быть написаны Грушницким: в пер-

---

[1] «Современник» № 2, 1861, стр. 323.

[2] «Известия Тамбовск. ученой архивной комиссии», вып. XVII, 1904. Материалы для истории Тамбовск., Пензенск. и Сарат. дворянства, т. 1, Приложение VI, Сочинения Н. С. Мартынова, стр. 111—140.

[3] Поэма «Герзель-аул», 1840, стр. 122—123.

[4] Там же, стр. 129.

вом стихотворении дан сжатый конспект романического поведения Грушницкого в «Княжне Мери», второе — образец романтической декламации, неотъемлемой от Грушницкого.

Отмеченные здесь черты Колюбакина и Мартынова, входящие в портрет Грушницкого, представляют черты, общие целому слою кавказского офицерства из среды поместного дворянства.

Грушницкий везде подчеркивает свою обособленность от круга Лиговских и Печорина: он — солдат (юнкер — унтер-офицер из дворян), армеец, провинциал, малосостоятельный человек; на их стороне — знатность, влиятельность, столичный лоск, богатство.



Два флигель-адъютанта.
(С акварели М. Ю. Лермонтова.)

«Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких»,—говорит Грушницкий, противопоставляя себя, как служащего в обыкновенном *армейском* полку, кругу *гвардейской* офицерской молодежи и их семей.

Гвардией называлось особое войско, несшее личную охрану императора, двора и столицы. Охранительные задачи гвардии требовали особого подбора солдат и офицеров как со стороны их боеспособности, так и в особенности со стороны их благонадежности. В России основателем гвардии был Петр I. В XVIII в. гвардейские полки играли большую политическую роль при дворцовых переворотах: им обязаны своим «воцарением» Екатерина I, Елизавета, Екатерина II. При Николае I лейб-гвардия составляла особый корпус: служба в гвардии давала офицерам, набиравшимся из знатных и богатых дворянских фамилий, большие преимущества (чины, денежное довольствие, блеск и роскошь формы) сравнительно с так называемыми, *армейскими* полками, к которым принадлежала огромная масса царского войска. Офицеры-гвардейцы переводились в армейские полки чином или двумя

выше того, который носили, служа в гвардии, расквартированной в Петербурге.

Понятен постоянный антагонизм, существовавший в царской России между армейцами и гвардейцами.

«Что для меня Россия, — говорит Грушницкий княжне Мери, — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...»

«Напротив, — сказала княжна, покраснев».

Армеец Грушницкий, выходец из мелкопоместного захолустного дворянства, хорошо сознает тесные рамки своей социальной группы внутри класса, в данную эпоху расколотого на взаимно борющиеся прослойки. Но он ошибается, полагая, что на Кавказе эти внутриклассовые рамки отсутствуют. Известное ослабление этих рамок, правда, существовало: оно было обусловлено самыми условиями войны на Кавказе. Не только от офицера, но и от солдата требовалось там не одно слепое послушание и благоговение к чинам, но собственный почин, личная наблюдательность, навык к быстрым решениям и действиям. Солдаты чувствовали себя на войне свободнее, чем в городской казарме или военном поселении. Существовал даже закон, по которому солдат, взятый в плен и сумевший бежать из плена, делался вольным: помещик терял на него право собственности. Тем не менее, не только «солдатская шинель», но и шинель армейского офицера, и на Кавказе оставалась тем, чем была в России: резким признаком принадлежности к определенному классу («солдатская») или к классовой группе (офицерская армейская). Грушницкому довелось вскоре испытать это на себе. Внимание к нему княжны Мери и сближение с ним — было следствием не кавказского разлома социальных перегородок, а только результатом наносного романтического интереса к фигуре мнимого «отверженника».

Грушницкий отчетливо ощущает, что будучи по паспорту дворянином, он все же не ровня Печорину ни по экономическому, ни по правовому, ни по служебному положению. Антипатия Грушницкого к Печорину («он меня не любит», записывает последний) имеет не только психологическое, но и твердое классовое основание: это антипатия представителей двух различных слоев дворянства. Но питая эту антипатию (взаимную, так как Печорин и со своей стороны признается: «я его тоже не люблю»), провинциал Грушницкий за культурным оформлением своей личности тянется к тому

же Печорину и его классовому слою. Вот почему он прилежно копирует культурно-идеологический обиход Печорина, и еще Шевырев высказывал предположение, что Печорин «не любит Грушницкого по тому самому чувству, по какому нам свойственно не любить человека, который нас передразнивает и превращает то в пустую маску, что в нас есть живая существенность» [1].

Подражательность — едва ли не основная особенность характера Грушницкого. Он — постоянный копировщик чужих мыслей, чувств и даже жизненных положений, — притом, именно, тех мыслей, чувств и положений, на которое есть «мода» в литературе и в жизни.



Портрет неизвестного.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

В свой кавказский журнал Печорин заносит наблюдение, что «жены местных властей... менее обращают внимания на мундир — офицерский он или юнкерский, солдатский: — они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум». Печорин имеет в виду офицеров, разжалованных в солдаты или переведенных — в наказание — на Кавказ.

Именно одним из таких изгнанников «с милого севера в сторону южную» хочет казаться Грушницкий, когда говорит об обществе княгини Лиговской: «Какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» Строя образ Грушницкого контрастно по отношению к образу Печорина, Лермонтов заставляет его в этой реплике, с небольшим изменением, повторить указанные слова Печорина. В устах высланного из столицы, подневольного кавказца Печорина в них заключено указание на определенный политико-общественный факт; в устах Грушницкого они приобретают оттенок пустой романтической декламации, так как он пошел служить на Кавказ по собственной воле.

Лермонтов усиленно подчеркивает подражательность и наносность разочарования Грушницкого и людей его типа. Он

---

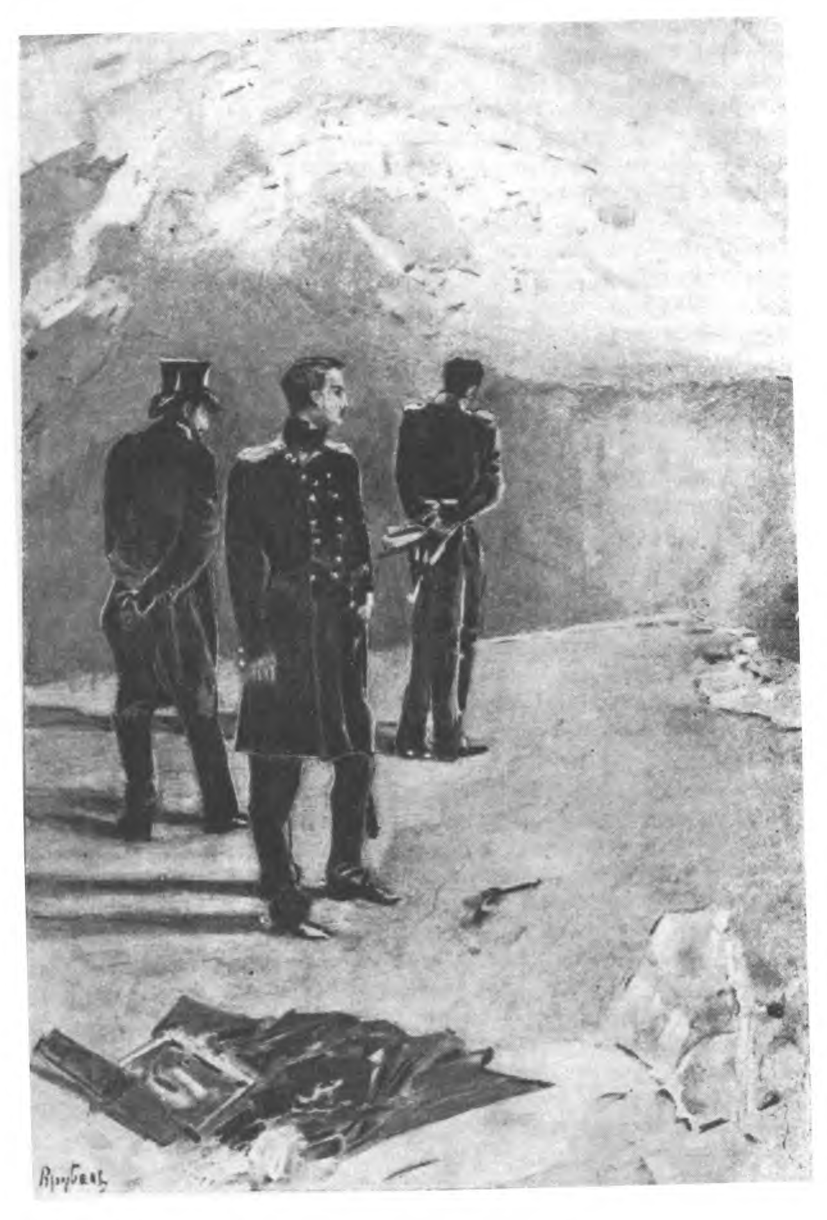
[1] «Москвитянин» № 2, 1841.

еще в «Бэле» объяснял словами офицера-путешественника, собрата Печорина по классу и культуре: «разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок». Грушницкий принадлежит к «донашивающим» разочарование: он провинциальный модник скуки, франт разочарования, — в противоположность Печорину, для которого скука и разочарование — не мода, а «несчастье». В противоположность Печорину, «старающемуся скрыть это несчастие», Грушницкий представлен человеком, шумно предъявляющим всем и каждому старые клочки рваного плаща «разочарованного».

«Грушницкий, — определяет его Белинский (статья 1840 г.), — идеальный молодой человек, который щеголяет своей идеальностью, как записные франты щеголяют своим модным платьем, а «львы» — ослиною глупостью. Он носит солдатскую шинель из толстого сукна; у него георгиевский солдатский крестик. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкером, а разжалованным из офицеров: он находит это очень эффектным и интересным. Вообще, «производить эффект» — его страсть. Он говорит вычурными фразами. Словом, это один из тех людей, которые особенно пленяют чувствительных, романических и романтических провинциальных барышень, один из тех людей, которых, по прекрасному выражению автора записок, «не трогает просто прекрасное и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». «В их душе, — прибавляет он, — часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии». Они страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-нибудь не житейских, стараются говорить фразами из его повестей. Теперь вы вполне знакомы с Грушницким. Он очень не долюбливает Печорина за то, что тот его понял.

... Этот человек — апофеоз мелочного самолюбия и слабости характера: отсюда все его поступки».

Нигде не называя имени Марлинского — А. А. Бестужева (1797—1837), — Лермонтов с ним связывает провинциальный «романтический фанатизм» Грушницкого; это было ясно уже современникам поэта, как видно из приведенных слов Белинского. В своих офицерах-кавказцах (и в черкесах) Марлинский рисовал «людей рока», гонимых судьбой несчастливцев с гордыми душами и пламенными сердцами. Большой успех этих романтических героев у средне- и мелкодворянского



Дуэль Печорина с Грушницким.

(С рисунка М. А. Врубеля.)

читателя объясняется тем, что читатель здесь встречался в романтической кавказской маскировке с последними отзвуками глухого предания о действительных несчастливцах в истории — о людях декабристского поколения. Не принадлежа к этому поколению, Лермонтов наделил «героя *своего времени*» — Печорина — одним отвращением к насильнической и пошлой действительности николаевского режима и лишил его всякого позыва к общественной борьбе с этим режимом. Лермонтов тем жестче рисовал Грушницкого с его романтической позой и фразой, что сам некогда в поэме «Измаил-бей» изобразил «русского офицера» точь-в-точь по Марлинскому.

Печорин познакомился с Грушницким «в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу». Но и самый приезд его на Кавказ — нарочитое «следствие его романтического фанатизма», а не печальная необходимость, как для Печорина, и не простой долг службы, как у Максима Максимыча.

В воображаемом разговоре Грушницкого с «хорошенькой соседкой» перед отъездом на Кавказ, в его уверении, «что он едет не так, просто служить, но что ищет смерти»,— Лермонтов, устами Печорина дает убийственную пародию на мнимотрагическую мотивировку поступков, свойственную шаблонно романтическим «героям рока» и трафаретным «изгнанникам», наводнившим, с легкой руки Марлинского, русскую повесть конца 1820-х — начала 1830-х годов.

У Грушницкого есть «георгиевский крестик» — высшая военная награда за храбрость (Лермонтов намеренно не дает ее Печорину), но Печорин отмечает в его «храбрости» — романтический наигрыш: «Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость». Эти черты Грушницкого повторяет Л. Н. Толстой в кавказском поручике Розенкранце (в повести «Набег», 1852); который был один из «молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому... и во всех своих действиях руководствующихся не собственными наклонностями, а примером этих образцов». Его отчаянной, несуразной, показной храбрости противопоставлено в рассказе Толстого спокойное деловое мужество капитана Хлопова, в чертах которого есть много сходства с Максимом Максимычем.

Лермонтов в образе Грушницкого ярко подчеркивает свое неверие в возможность в жизни романтико-идеалистических проекций. Намечая конец, ожидающий Грушницкого, он делает его подчеркнуто-массовым: «Под старость они делаются

либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим». «Вот самая лучшая и полная характеристика таких людей», соглашается Белинский с этим прогнозом Лермонтова-Печорина о дальнейшей судьбе Грушницких.

Зарисовывая в Грушницком тип, бытовавший в русской действительности 1820—1840-х годов, Лермонтов рисует его рукою социального и культурно-психологического антагониста Печорина. Этим объясняется выдержанный всюду тонкий иронизм.

Образцом иронической зарисовки Грушницкого может служить запись в «Журнале Печорина» от 13 июня. Описание нового офицерского мундира и всего облика Грушницкого набросано здесь ярко ироническими штрихами: задача приема — дать внешний облик, контрастный с обликом Печорина, обрисованном в «Максиме Максимыче». В мундире Грушницкого подчеркнуто безвкусное излишество во всем: «*неимоверная* величина эполет», «*огромный* платок», «*высочайший* подгалстушник» и т. д. Грушницкий «взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол», высовывавшийся «на полвершка» подгалстушник он «вытащил кверху до ушей», он «налил себе полсклянки (духов) за галстук, в носовой платок, на рукава». Лермонтов тщательно заботился о сатирической вырисовке внешности Грушницкого. Первоначально Лермонтов употребил такое сравнение: «эполеты неимоверной величины *подобились двум котлетам*». Это сравнение, точное, сделанное в плане сатирическом, но безотносительно к личности влюбленного прапорщика, Лермонтов заменил другим: «*эполеты необыкновенной величины загнуты кверху в виде крылышек амура*»; новое сравнение бьет своей иронией по самому чувству Грушницкого к Мери, высмеивая любовь провинциала. Лермонтов заставляет его пристегнуть к мундиру «двойной лорнет» на «бронзовой цепочке». А в одновременной повести В. А. Сологуба «Большой свет» великосветский законодатель паркетного джентльменства Сафьев (под именем которого выведен приятель Лермонтова — Столыпин) как раз поучает юного офицера Леонина, вступающего в свет: «Будь всегда одет по строгой форме, не позволяй себе ни цепочек, ни лорнетов, никаких вычур армейских франтов, ничего, одним словом, что бы заставило тебя заметить. Светской моды ты никогда не достигнешь» [1].

Сатирической зарисовкой внешности Грушницкого, введенной в дневник Печорина, выявляется не только психо-

---

[1] «Отечественные Записки», № 3, т. IX, 1840, стр. 26.

логическая, но и культурно-социальная противоположность двух соперников: гвардейца и армейца, столичного «дэнди» и глухого провинциала.

Однако, рисуя образ Грушницкого рукой враждующего с ним Печорина, Лермонтов нигде и ни в чем не погрешает против правдоподобия: емкий реалистический образ нигде не превращается в сатирический набросок. «Грушницкий есть истинно-художественное создание», — писал Белинский в статье 1840 г.

ВЕРНЕР

Фигура доктора Вернера построена Лермонтовым на подлинном жизненном и историческом материале. Общий голос современников Лермонтова (А. Е. Розен, Н. М. Сатин, Н. Торнау, А. М. Миклашевский и др.) прототипом Вернера называет доктора Николая Васильевича Майера (18? — 1846), служившего при штабе генерала Вельяминова.

Товарищ Лермонтова А. М. Миклашевский, рисуя Кисловодск в эпоху первой ссылки Лермонтова в 1837 г., — говорит: — «К нам по вечерам заходил Лермонтов с общим нашим приятелем хромым доктором Майером, о котором он в «Герое нашего времени» упоминает. Веселая беседа, споры и шутки долго, бывало, продолжались» [1].

Декабрист А. Е. Розен вспоминает про жизнь в Железноводске в 1838 г.: «По тесноте строений и по живительности воздуха, посетители по возможности бывают под открытым небом: возле меня, на берегу ручья, под деревом, собирался кружок каждый вечер, беседовали далеко за полночь. Умные и сатирические выходки доктора Майера, верно нарисованного в «Герое нашего времени» Лермонтова, поэзия Одоевского и громкий и веселый смех его еще и поныне слышатся мне» [2]. Н. М. Сатин пишет: «Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «pauvre sir, pauvre talent» («ничтожный человек, ничтожный талант») [3]. Стоит сличить зарисовку внешности Вернера с чертами Майера, как они запечатлены в воспоминаниях его друзей, чтобы признать портретное сходство — вплоть до мелочей. «Он был маленького роста и чрезвычайно худощав» (Сатин); «одна нога короче другой, что

---

[1] «Русская Старина», кн. 12-я, 1884, стр. 592.
[2] Розен А. Е., Записки декабриста, П. 1907, стр. 255.
[3] Сб. «Почин», стр. 239.

заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать» (Огарев); «лоб от лицевой линии выдавался вперед на неимоверно значительное пространство, так что голова имела вид какого-то треугольника» (Сатин); «волосы он стриг под гребенку» (Филиппсон); при «огромной угловатой голове» (он же) — «небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, тонкие губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле» (Огарев). При близком сходстве даже в цвете глаз (у Вернера — черные, у Майера — карие), Лермонтов изменил сравнительно с оригиналом только их выражение: у Вернера — «глаза всегда беспокойные старались проникнуть в ваши мысли», — в глазах Майера, наоборот, при их «живости и уме», «скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку» (Огарев). В Вернере Лермонтов подчеркивает его «вкус и опрятность», его «маленькие руки», все, что может свидетельствовать об аристократизме; этим «аристократизмом образа мыслей и манеры» выделялся и Майер (Филиппсон).

Очень много сходства и в психологическом портрете обоих. «У него был злой язык», говорит Лермонтов про Вернера, он был охоч на «эпиграммы», он «исподтишка насмехался над больными», но «плакал над умирающим солдатом». Этой добротой исподтишка и колкостью на язык отличался и Майер, и с теми же жизненными результатами, что и у Вернера: «характер его был неровный и вспыльчивый; нервная раздражительность и какой-то саркастический оттенок его разговора навлекали ему иногда неприятности, но не лишили его ни одного из близких друзей». Как Вернер, Майер «любил парадоксы» (Филиппсон) и сам признавался, тоскуя, в письме к Сатину от 17 ноября 1838 г.: «Поговорить не с кем — некому дебатировать парадоксы привычные». Об «умных сатирических выходках Майера» вспоминает декабрист А. Розен.

Сходство простиралось до единства жизненной судьбы. Про Вернера Лермонтов пишет: «бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов[1]; надобно отдать справедливость женщинам: они

---

[1] Эндимион — в греческой мифологии — красивый юноша, которого полюбила богиня луны — Селена (иначе: Диана); она усыпила его, чтобы поцеловать в уста, и испросила у Зевса бессмертие и вечную молодость прекрасному юноше.

имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин». По словам Филиппсона, Майер внушал некоторым замечательным женщинам «сильное и глубокое чувство к себе». Сатин был «свидетелем и поверенным любви», которую Майер «своим умом и страстностью возбудил в одной из самых замечательных женщин».

Выписывая с такой тщательной схожестью портрет Майера в своем Вернере, Лермонтов внес в него одно, чрезвычайно важное, изменение. Майер, по словам Н. П. Огарева, был человеком «глубокого религиозного убеждения или, лучше, религиозного раздумья... Его сердечное благородство и его потребность любви не уживались с действительностью. Чтобы выносить хаос, ему нужно было единство божественного разума и божественной воли: чтобы не умереть с отчаяния, ему нужно было бессмертие души». Лермонтов, наоборот, сделал своего Вернера «скептиком и материалистом, как все медики». Вместо поклонника Ж. де Местра и Сен-Мартена, каким был Майер, соединявший, к удивлению Огарева, любовь к этим реакционным мистикам с изучением современных химиков и физиологов, Лермонтов представил Вернера последовательным, чистым атеистом, «изучающим все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа».

Другую черту доктора Майера Лермонтов по цензурным условиям мог представить лишь в прикровенном виде.

«Вот как мы сделались приятелями, — рассказывает Печорин,— я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи», а ранее «приятелями» Вернера называет «всех истинно порядочных людей, служивших на Кавказе».

«С...» — это Ставрополь, где Лермонтов познакомился с Майером осенью 1837 года: «многочисленный и шумный круг молодежи», окружавший Вернера в С., — это круг сосланных декабристов, к которому принадлежали кн. В. М. Голицын, С. И. Кривцов, В. М. Лихарев, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, кн. А. И. Одоевский и бар. А. Е. Розен.

В этом кругу Майер пользовался большим уважением и любовью за свой независимый характер и свои политические убеждения.

Отец Майера, «ученый секретарь академии, был крайних либеральных убеждений; он был масон и деятельный член некоторых тайных политических обществ». Он

«привил сыну свои политические убеждения. По выпуске из академии, Майер поступил врачом в ведение генерала Инзова» (известного масона, попечению которого был вверен Пушкин во время ссылки в Кишинев), «а оттуда переведен в Ставрополь, в распоряжение начальника Кавказской области, генерала Вельяминова. Он сделался очень известным практическим врачом. В третий год бытности на Кавказе он очень сблизился с А. Бестужевым (Марлинским) и с С. Палицыным — декабристами, которые из каторжной работы были присланы на Кавказ служить рядовыми». За одну услугу, оказанную Бестужеву, спасшую декабриста от нового путешествия в Сибирь, «Майер выдержал полгода под арестом в Темнолесской крепости» (Филиппсон). «Жизнь Майера естественно примкнула к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили, как брата» (Огарев). Сам Майер писал Сатину о своей связи с декабристами: «Я дважды навещал моих приятелей в Прочном Окопе; они действительно честные люди и питают ко мне сердечную дружбу». Особенно близок Майер был с тем из декабристов, с которым Лермонтов был связан крепкой дружбой,—с кн. А. И. Одоевским, на смерть которого Лермонтов написал знаменитое стихотворение [1].

Лермонтов не имел возможности говорить об этой стороне жизни Майера, но не захотел и обойти ее молчанием— кружок декабристов он превратил в «многочисленный и шумный круг молодежи», а их беседы с Майером на политические и религиозные темы отразились на страницах «Героя нашего времени» в следующих словах: «разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях; каждый был убежден в разных разностях».

Сохранив некоторые слабые намеки на сношения Майера с декабристами, Лермонтов дал Вернеру, во мнении «молодежи», облик Мефистофеля, так как усиленно развил в Вернере черты скептика и материалиста. «Он сильно окрасил его в печоринские краски. Вернер — больше, чем приятель Печорина, это его брат по крови. Но он гораздо слабее Печорина, он менее целен; его ледяная оболочка не так прочна, и чувство легче прорывается чрез нее. В нем нет

---

[1] Воспоминания о Майере: Филиппсона Г. И., «Русский Архив» № 5, 1883, стр. 177—180; Огарева Н. П., «Кавказские воды», «Полярная звезда», Лондон 1861; Сатина Н. М., сборник «Почин», М. 1895, стр. 239—244.

законченности Печорина; его глаза «всегда беспокойны», тогда как взгляд Печорина, тоже проницательный, «равнодушно-спокоен». Вернер и Грушницкий — один подобие, другой карикатура Печорина — нужны были Лермонтову для того, чтобы показать распространенность, *типичность* психических черт, из которых соткан Печорин, ибо, по мысли Лермонтова, Печорин не индивидуальный портрет, а типичный образ пороков целого поколения в их наиболее полном развитии»[1].

Изображая Вернера единственным лицом, которое равноправно Печорину по интеллекту и мышлению, отмечая в Вернере его родство с Печориным по уму, скепсису, рефлексии, презрению к светской толпе, — Лермонтов в конце романа вскрывает глубокую разность этих — двух натур: там, где Печорин не боится итти на действие, которое представляется ему неизбежным, и не страшится нести за него ответственность пред кем угодно, — там Вернер укрывается за стеной своей обычной созерцательности, и его суждения внезапно оказываются до тождества похожими на суждения презираемой им толпы.

Исход дуэли Печорина с Грушницким взорвал дружбу Вернера с Печориным.

Вернер не прощает Печорину его выстрела в Грушницкого («вы можете спать спокойно... если можете»), вероятно, полагая, что Печорин должен был выйти из истории моральным победителем противника, выстрелив в воздух. «Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тяжесть ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!», — таков приговор, вынесенный Вернеру Печориным после получения его письма. Печорин никогда не отменит этого приговора.

Примирение с Вернером для Печорина невозможно: как натура волевая, Печорин не может довольствоваться одной дружественной близостью в мыслях, при полном расхождении в действенных движениях личности: то, что для Печорина является волевой правдой, Вернеру представляется проступком, осуждаемым моралью.

Разрыв с Вернером еще глубже подчеркивает полное одиночество Печорина.

---

[1] Гершензон М., Образы прошлого, М. 1912, стр. 320.

БЭЛА

Истории любви Печорина и Бэлы можно подыскать множество литературных подобий в европейской и русской литературе первой половины XIX в.: тема любви европейца к дикарке, человека культуры к «дитяти природы» была модной в эту пору. Из европейских писателей, близко знакомых Лермонтову, нужно упомянуть о Байроне («Дон-Жуан») и Шатобриане (1768—1848). В повести последнего «Рене» (1802) изображена любовь разочарованного европейца Рене, томимого скукой и одиночеством, к наивной и любящей индианке Селюте. В образе Селюты есть немало сходства с Бэлой, как в Рене — с Печориным. «И та, и другая — наивные дикарки, сначала скрывающие свое чувство к любимым им «европейцам», а позднее беззаветно преданные им и просто, но глубоко любящие». Весьма возможно, что «нежный образ Селюты, кроткой, страдающей индианки, противопоставленный «высшей натуре», эгоистичной, исполненной противоречий, повлиял на образ Бэлы, столь же трогательный и поэтичный. И Печорин, и Рене не могут обмануть себя; то «беспокойство, пыл желаний», который «повсюду преследует» Рене, то «воображение беспокойное, сердце ненасытное», на которое жалуется Печорин, не позволяют им найти счастье в любви к дикаркам... Для Рене Селюта, как для Печорина Бэла,— недолгое развлечение, сменяющееся обычной скукой, обусловленной романтической неврастеничностью, принимаемой самими «героями» за «судьбу» (fatalité)» [1].

В русской литературе тема любви человека культуры к дикарке (или простушке) была ярко отображена Пушкиным (пленник и черкешенка в «Кавказском пленнике», 1821, Алеко и Земфира в «Цыганах», 1824) и Боратынским (Эдда и гусар в «Эдде», Елецкий и Сарра в «Наложнице»). Одна из таких повестей, «Кавказский пленник», произвела на отрока Лермонтова столь сильное впечатление, что он переделал ее на свой лад, лишив пушкинскую «черкешенку» ее самоотверженности («ты любил другую — найди ее! люби ее!») и придав ей новые черты требовательной страстности («забудь ее! люби меня!). В Бэле Лермонтов соединяет черты трогательной самоотверженности и не менее сильной страстности.

---

[1] Родзевич С. И., Лермонтов как романист, Киев 1914, стр. 53—55.

Имея литературные подобия, история Бэлы и Печорина художественно обобщает факты живой действительности. По воспоминаниям М. Н. Лонгинова, в основу «Бэлы» положено «истинное происшествие, конечно, опоэтизированное и дополненное вымышленными подробностями, случившееся с родственником поэта Е. Е. Хастатовым».

Убийца Лермонтова Н. С. Мартынов рассказывает в своем очерке «Гуаша» о любви к черкешенке одного из товарищей Лермонтова, кн. А. Н. Долгорукова, служившего в 1837 г. на Кавказе: «Недалеко от Ольгинского укрепления на левом берегу Кубани есть мирный аул, куда все офицеры наши ездят закупать себе разные кавказские произведения. Случайно увидели они там молодую черкешенку необыкновенной красоты, на ней не было чадры... По всему заметно было, что она принадлежит к аристократическому семейству... С первого дня, как увидел Долгорукий Гуашу... он почувствовал к ней влечение непреодолимое; но что всего страннее: и она с своей стороны, тотчас же его полюбила. Выражала она эту любовь совершенно по-своему: безыскусственно и просто, как было просто и безыскусственно все ее обхождение, но даже и в самых мелочах было заметно предпочтение, которое она оказывала ему перед другими его товарищами. Для всех она была только приветлива, для него одного ласкова... Долгорукий часто привозил Гуаше незначительные подарки: когда купит для нее материи на бешмет; в другой раз поднесет ей стеклянные бусы... Получив от него какую-нибудь вещь, она никогда не рассматривала ее, как это делают почти все азиатцы, и даже многие из европейцев, но молча принимала подарок, благодарила за него искренно, хотя и с достоинством, нисколько впрочем не стараясь скрыть своего удовольствия, если вещь ей нравилась. Казалось, все усилия ее клонились только к тому, чтобы доказать, что она более ценит внимание лица, чем подарок [1]... Судя по росту и по гибкости ее стана, это была

---

[1] Ср. эпизод из «Бэлы»: Печорин надеется помощью богатых подарков добиться внимания похищенной им Бэлы.

На слова Печорина — «устоит ли азиатская красавица против такой батареи (подарков)?» Максим Максимыч отвечает противопоставлением характера и быта «черкешенок», женщин горских племен, характеру и быту «грузинок и закавказских татарок». У первых — больше личного достоинства и независимости чувства, охраняемых строгостью нравов.

«Вышло, что я был прав», заключает этот эпизод Максим Максимыч: «подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее — да и только».



Бэла у Печорина.
(С рисунка В. А Серова.)

молодая девушка; по отсутствию же форм и в особенности по выражению лица совершенный ребенок; что-то детское, что-то неоконченное было в этих узких плечах, в этой плоской еще неналившейся груди, которая была стянута серебряными застежками» [1].

Если даже видеть в рассказе Мартынова возможный отзвук «Бэлы», то в основном правдивость его рассказа подтверждается схожим рассказом другого офицера Н. Торнау, также встретившего на Кавказе, в плену, свою Бэлу — черкешенку Аслан-Коз: «Чрезвычайно стройная, тонкая в талии, как бывают одни черкешенки, с нежными чертами лица, черными, несколько томными глазами и черными волосами, достававшими до колен, она везде была бы признана очень красивою женщиною. Притом она была добродушна и чрез-

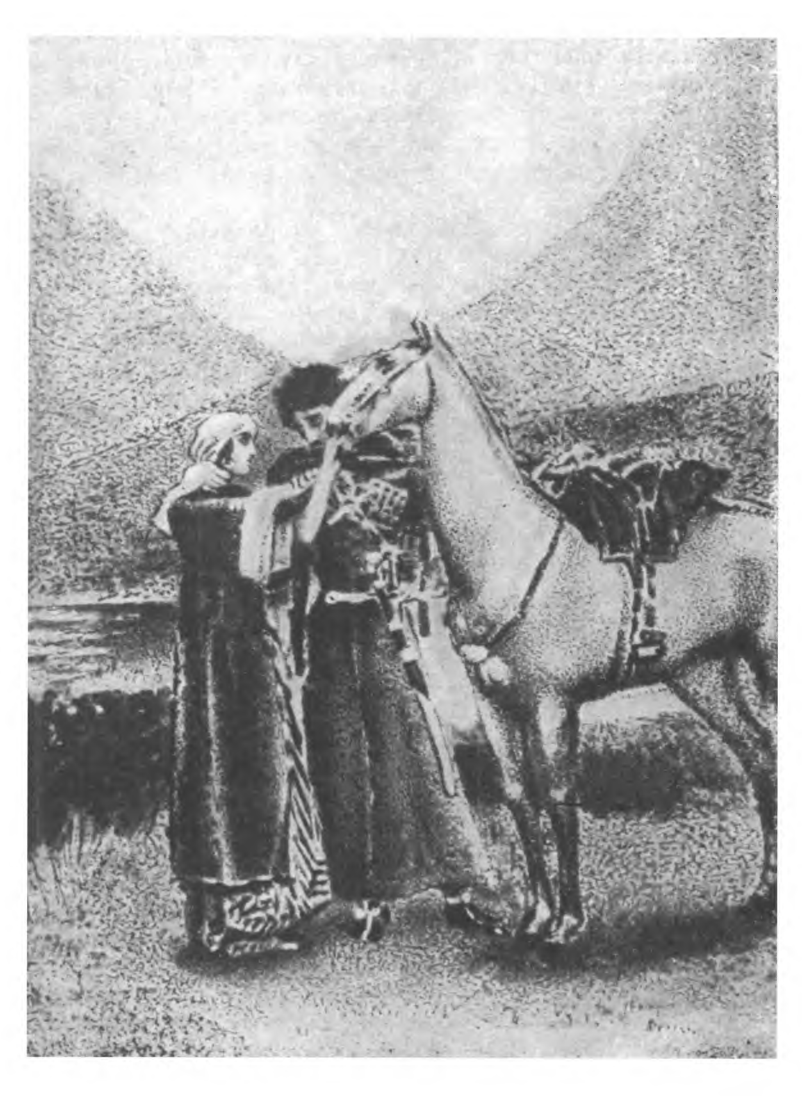
[1] «Известия Тамбовск. учен. архивн. комиссии», вып. XVII, Материалы для истории Тамбовск., Пензенск. и Сарат. дворянства, т. 1, ч. 2-я, Тамбов 1904. Приложение VI: Мартынов Н. С., Соч., стр. 112—118.

вычайно понятлива. Никогда я не слыхал от нее бессмысленного вопроса или неуместного замечания на то, о чем я ей рассказывал. Неутомимое любопытство ее было исполнено наивности, но сквозь эту наивность проглядывало много ума... Аслан-Коз имела в то время девятнадцать лет; как каждая другая черкешенка этого возраста она не могла не знать своего назначения, но сердцем была невинна, как ребенок. Я встречался с нею часто, потому что она доставляла мне развлечение, которого я нигде и ни в чем не находил, и потому что любил ее душевно за искреннюю преданность ко мне. Воспользоваться посредством обмана ее красотою и молодостью мне и в голову не приходило, да и сама она не допустила бы до этого. Черкешенки очень целомудренны и, несмотря на предоставленную им свободу, редко впадают в ошибку. С ранней молодости все их мечты и желания направлены к одной цели: выйти замуж за бесстрашного воина и чистыми попасть в его объятия. Аслан-Коз в этом отношении была так щекотлива, что малейшее увлечение с моей стороны ее тотчас приводило в робость, и она меня отталкивала, говоря: «Харам! Станешь моим мужем, все будет твое, а теперь ничего не позволю!». По целым часам я сидел возле нее, пока она работала, и рассказывал ей, сколько умел по-черкесски, все, что у нас делается, как наши женщины воспитываются, живут и одеваются. Несмотря на мой ломаный язык, она все понимала легко и доказывала это своими умными вопросами» [1].

Женская часть горского населения в эпоху Лермонтова—Печорина отличалась большей ревностью к мусульманской религии, чем мужская. Лермонтов с верностью действительности подчеркнул предсмертный страх мусульманки Бэлы перед загробной разлукой с гяуром Печориным. Перед смертью она, по рассказу Максима Максимыча, «начала печалиться о том, что она не христианка и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью: я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости, и долго не могла слова вымолвить, наконец, отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась».

В воспоминаниях того же Торнау, бывшего в плену у горцев в лермонтовское время, находим такую параллель к

[1] Т(орнау), Воспоминания кавказского офицера 1835—1838 гг., ч. 2-я, М. 1864, стр. 130—131.



Бэла.

(С рисунка М. А. Врубеля.)

этому правоверному страху Бэлы. Черкешенка Аслан-Коз, полюбившая пленного офицера, заклинает его принять магометанство, так как «одна магометанская вера дает спасение... Она уговаривала меня пожалеть свою душу, отказаться от житейских благ, ожидающих меня на русской стороне и удостоиться вечных радостей, посвятив себя корану».

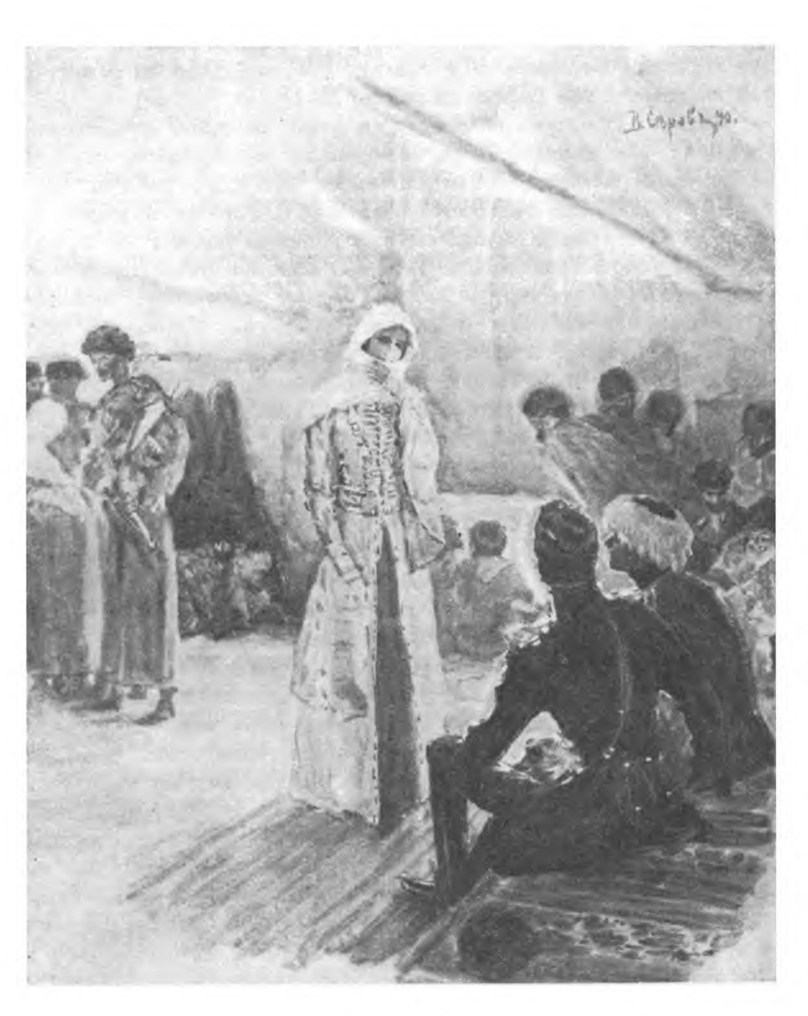
На отказ офицера, черкешенка укоряла его в недостатке любви к ней: «Настанет и для тебя минута напрасного сожаления; тогда ты горько вспомнишь обо мне. В день светопредставления, когда Азраил станет звать на суд Аллаха живых и мертвых, когда для мусульман откроются двери рая, а гяуры будут низвергнуты в ад, тогда, увидав меня издали, ты напрасно станешь взывать с отчаянием: Аслан-Коз, помоги! помоги! и как бы я ни желала тебе помочь, будет уже поздно. Опомнись, я предлагаю теперь все счастье, которое способна дать в этом мире и вечное блаженство в будущей жизни». Отчаявшись обратить русского офицера в мусульманство и сделать своим мужем, Аслан-Коз помогла ему бежать из плена[1]. Положение Аслан-Коз могло бы быть во всем сходно с положением Бэлы, если б «русским» в этом эпизоде оказался не пленный и сдержанный Торнау, а свободный и избалованный Печорин.

Таким образом, история Бэлы и Печорина, составляя одно из звеньев разработки литературной темы любви культурного европейца к дикарке, в то же время реалистически правдиво отражает явление, порожденное русско-кавказской действительностью 1820—1830-х годов.

В офицерской мемуарной литературе приметно стремление ниже расценить красоту горских женщин, прославленную произведениями поэтов 1820—1830-х годов. Вот что читаем в «Заметках о нравственных качествах чеченцев» Н. Семенова: «Напрасно многие прельщаются красотой этих дикарок — очаровательного я не нашел в этих куклах. Правда, они красивы, как картинки, но дикий взгляд, бездушие в чертах, с одной чувственностью и коварство в улыбке — не могут назваться идеалом. Нет того взгляду, как в лице скромной европеянки, хотя не красавицы. Рожденные от рабынь, несчастные ищут уловки подышать свободой, стараясь угодить чем-либо своим властителям,—и вот с детства закрадывается в них лисья хитрость. Такая рабская жизнь кладет на лицо их

---

[1] Т(орнау), Воспоминания кавказского офицера, ч. 2 я, стр. 132—134.



Бэла в сакле отца.

(С рисунка В. А. Серова.)

и отпечатки рабские»[1]. Описание явно рассчитано на снижение образа горянки, данного русскими поэтами.

Наоборот, Лермонтов своим правдивым изображением Бэлы вознес образ горянки на такую нравственную высоту, что заставил Белинского в статье 1840 г. отдать ей решительное предпочтение перед княжной Мери:

«Какую противоположность с этой княжной представляет красивая черкешенка Бэла! Увезенная Печориным, стыдливо умела она отклонять его ласки до тех пор, пока в самом деле не полюбила похитителя, но когда любовь дикарки созрела и Печорин угрозой уйти от нее вырывает ее признание, — с какой безответственностью она вся отдается любимому человеку! Конечно, Бэла не связана теми общественными условиями, в которых находится княжна Мери, но разве у ней нет своих нравственных общественных уз, ей столь же дорогих и привычных, жертвовать которыми ей так же не легко, как и светской княжне? Какая разница опять выказывается между ней и княжной — и к невыгоде последней — в положении, принятом черкешенкой, когда удовлетворенная любовь начала гаснуть в Печорине!

«Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? — говорит она Максим Максимычу, отерев слезы и гордо подняв голову. — А если это будет так продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, я княжеская дочь!» Вот это любовь, настоящая любовь, без всякой подмеси!»

Образ Бэлы был высоко оценен в обоих противоположных лагерях русской критики 1840-х годов. Белинский писал:

«С каким бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки! Она говорит и действует так мало, а вы живо видите ее перед глазами во всей определенности живого существа, читаете в ее сердце, проникаете все изгибы его... Это была одна из тех глубоких женских натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются ему в любви не тотчас, отдадутся не скоро, а отдавшись уже не могут принадлежать ни другому, ни самим себе. Поэт не говорит об этом ни слова, но потому-то он и поэт, что, не говоря этого, дает знать все». Шевырев вторил Белинскому в «Москвитянине»: «Бэла — это дикое, робкое дитя природы, в котором чувство любви развивается просто, естественно и, развившись однажды, становится неизлечимою раною сердца»[2].

---

[1] Семенов Н., Туземцы Сев.-вост. Кавказа, СПБ 1869, стр. 77—78.

[2] «Москвитянин» № 2, 1841.

Вводя образ Бэлы в круг образов мировой поэзии, проф. Н. И. Стороженко писал: «За исключением шекспировской Миранды трудно найти во всемирной литературе более очаровательное воплощение женственности, какою она вышла из рук природы» [1].

ВЕРА

Портрет Веры рисует в романе доктор Вернер, набрасывая для Печорина легкий очерк общества, бывающего у княгини Лиговской: «Какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка; ее лицо меня поразило своею выразительностью». «Родинка? — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?»

На прямой вопрос доктора: «Она вам знакома?» — Печорин дает простой и прямой ответ: «Я не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил встарину».

Этот ответ свидетельствует не только о сходстве портрета, набросанного Вернером, с оригиналом, но и о том, что былая любовь Печорина к Вере была таким большим и важным фактом, если не событием его жизни, что он и не думает скрыть его или отделаться от него каким-нибудь остроумным скептическим замечанием, на какие он так щедр в дружеских собеседованиях с Вернером.

В основу портрета Веры, нарисованного в романе, положены два предварительных его эскиза — «княгиня Вера Лиговская» из драмы «Два брата» (1836) и «княгиня Вера Дмитриевна» из повести «Княгиня Лиговская» (1836). Вот второй эскиз:

«Княгиня Вера Дмитриевна была женщина двадцати двух лет, среднего женского роста, блондинка, с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть... Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Беспрерывная изменчивость ее физиономии, повидимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время».

---

[1] Стороженко Н. И., Женские типы, созданные Лермонтовым, «Русские Ведомости» № 113, 1891.

Образ Веры внушен Лермонтову Варварой Александровной Лопухиной, по мужу Бахметевой (родилась в 1814 или 1815 г., умерла в 1851 г.), единственной женщиной, к которой Лермонтов питал глубокую, никогда не погасавшую любовь, отраженную поэтом во многих его стихотворениях и поэмах: «Демон», «Ребенку», «Валерик» и др. На прямую связь первоисточника изображений Веры и ее старого мужа из драмы «Два брата» с действительными лицами и событиями, Лермонтов указывает сам в письме к С. А. Раевскому: «Пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве», т. е. из замужества В. А. Лопухиной [1].

«Когда Лермонтов писал «Княгиню Лиговскую», он нарисовал акварелью и портрет Вареньки Лопухиной, тогда уже вышедшей за Бахметева, совершенно в таком виде и костюме, в каком описывается Вера в романе» [2]. В свой черед эскиз Веры из романа «Княгиня Лиговская» перенесен поэтом в «Княжну Мери», но с внесением в него одной подробности, еще более приближающей портрет к оригиналу. Один из свидетелей юности Лермонтова говорит про В. А. Лопухину: «Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15—16, мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу, над бровью, чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка» [3].

В «Княжне Мери» Лермонтов изобразил Лопухину-Бахметеву такой, какой видел ее в последний раз в жизни, в 1838 г., в Петербурге. Свидетель этого его свидания с Лопухиной, А. П. Шан-Гирей, вспоминает: «Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде» [4].

Жалкого мужа Веры, Семена Васильевича Г-ва, Лермонтов рисует двумя ироническими штрихами: «он богат и страдает ревматизмами». В «Княжне Мери» в эскизный набросок сжаты пространные портреты «князя Лиговского», данные в драме «Два брата» и в повести «Княгиня Лиговская» — на основе

---

[1] Письмо из Тархан от 16 января 1836 г.

[2] Висковатов П., М. Ю. Лермонтов, М. 1891, стр. 274.

[3] Рассказ А. П. Шан-Гирея, «М. Ю. Лермонтов», «Русское Обозрение», кн. 8-я, 1890, стр. 729.

[4] Висковатов П., М. Ю. Лермонтов, М. 1891, стр. 288—290.




Два портрета девушки [В. А. Лопухиной(?)].
(С рисунков М. Ю. Лермонтова.)

оригинала — помещика П. Ф. Бахметева (1798—1884), за которого в 1835 г. вышла замуж В. А. Лопухина.

«Недалекому Бахметеву все казалось, что все, читавшие «Героя нашего времени», узнавали его и жену его. Бахметев решительно запретил Вареньке иметь с поэтом какие-либо отношения. Он заставил ее уничтожить письма поэта и все, что тот когда-либо ей дарил и посвящал» [1].

Любовь к Вере для Печорина — больше прошлое, чем настоящее; лучшие ее страницы живут в воспоминании, на долю настоящего остаются лишь самые последние страницы. Вот почему Вера, как заметил еще Белинский, «подобно тени проскальзывает» по роману. Вот почему центральное место, показывающее образ Веры и ее любовь к Печорину, — ее прощальное письмо к нему обрывает навсегда их отношения так же решительно и бесповоротно, как оборвались отношения Лермонтова и В. А. Бахметевой.

В письме Веры, параллельном и вместе контрастном письму Вернера, Печорин находит не обвинение («я не стану обвинять тебя»), а четкое отражение себя в сознании любимой женщины, подводящей итог своей любви. В первой редакции письмо Веры оканчивалось так:

«Прощай, мой бедный друг; я рада, что не увидимся перед расставаньем. Я знаю, ты нынче должен драться с Грушницким; но уверена также, что ты останешься жив:

---

[1] Висковатов П., М. Ю. Лермонтов, М. 1891, стр. 745.

мое сердце иначе бы мне сказало противное: во всяком случае прощай. — Не все ли равно? во всяком случае, я тебя теряю навеки. Мери тебя любит... если что-нибудь доброе проснется в душе твоей, женись на ней; она тебя любит... ребенок! вчера — она мне рассказала все. Мне стало жаль ее. Она думает, несмотря на твое поведение, что ты ее любишь, потому что защитил так горячо ее честь, она думает, что ты хотел испытать ее... бедная!.. я ей ничего не сказала, поцеловала ее и благословила!.. о, не погуби ее! одной довольно. — Я не стану тебя уверять, что не переживу нашей разлуки... к чему? хотя я очень слаба и очень страдаю (но очень) однако, может быть, (что) проживу еще долго; но ты не узнаешь ни моего раскаяния, ни моих сожалений, — (но) у меня, однако, есть одно утешение, одна отрада, это мысль, что никогда ты меня не забудешь, потому что никогда ни одна женщина не будет любить тебя так искренно, так постоянно и так нежно. Прощай, не следуй за мною, не старайся меня видеть... к чему?.. один лишь горький, прощальный поцелуй не обогатит твоих воспоминаний, а мне после него только будет труднее с тобой расстаться...

Вера.

P. S. Одно меня лишь пугает: что, если ты, в самом деле любишь Мери? — О, не правда ли, этого не может быть?..»

Лермонтов исключил из романа все эти признания Веры, исключил, как психологическую невозможность, разрушающую цельность образа Веры: она знает самопожертвование только для любимого человека и *только* в пределах своей любви к нему. Наоборот, подозрение Веры в том, что Печорин любит Мери, выраженное в первоначальной приписке (post scriptum) мягко и слабо, он выразил с большей энергией: «Не правда-ли, ты не любишь Мери? Ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете».

Содержанием письма Веры теперь стало ее рассуждение о любви и характере Печорина и ее рассказ про бурное объяснение с мужем, послужившее причиной ее отъезда. В своем осознании любви Печорина Вера правильно понимает *социальную природу* этой любви: «ты поступил со мной, как поступил бы всякий другой мужчина. *Ты любил меня как собственность,* как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна». Подсказанный долгим личным страданием, вывод

Веры совпадает с тем выводом о рабском положении женщины в светском обществе, который делает баронесса в «Маскараде» (1834—1835):

Подумаешь, зачем живем мы? Для того ли,
Чтоб вечно угождать на чуждый нрав
И рабствовать всегда? Жорж-Занд почти что прав!
Что ныне женщина? Создание без воли,
Игрушка для страстей иль прихоти других!
Имея свет судьей и без защиты в свете,
Она должна таить весь пламень чувств своих,
Иль удушить их в полном цвете:
Что женщина? Ее от юности самой
В продажу выгодам, как жертву, убирают,
Винят в любви к себе одной,
Любить других не позволяют.

(Действие II, *сцена* I.)

Поставив в «Маскараде» вопрос о положении женщины в дворянском и буржуазном обществе и связав его со страстной проповедью женского равноправия у Жорж-Занд (1804—1877), Лермонтов в лице Веры дает законченный образ женщины-рабы.

«Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувства своего женского достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину сносить и тиранства любви. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в ее обожании есть что-то рабское». Но если Вера раба, то раба уже начинающая сознавать свое рабство, однако, без надежд и без попыток на выход из него. Вера, не умея защитить свое право на свободное чувство, на деле осуществляет его. Она «не торговалась со своею страстью. Она многим пожертвовала и еще большим рисковала. Она обманывала своего первого мужа, обманула и второго. Когда этот обман открылся, она могла потерять не только семейное спокойствие, но и средства к жизни; хуже того: она остается во власти мужа, который из боязни огласки не бросит ее, зато будет весь век пилить и попрекать изменой» [1]. Неудержимость и неизменность своей любви к Печорину Вера ставит в прямую зависимость от его личности: «любившая тебя не может смотреть без некоторого презрения на

---

[1] Авдеев М. В., Наше общество в героях и героинях литературы, СПБ 1874, стр. 282.

прочих мужчин»[1]. Печорин, в глазах Веры, выделяется из ничтожной светской толпы не достоинствами своей нравственной личности («не потому, чтоб ты был лучше их, о нет!»), а той скрытой «силой», которую чувствует в себе и сам Печорин: «в твоей природе есть что-то гордое; в твоем голосе... есть власть непобедимая». Как женщина, живущая одним чувством любви, Вера истолковывает эту «власть непобедимую» так, как Донна Анна истолковала бы власть Дон-Жуана: «никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым».

Узнав из письма Веры об ее отъезде, и поняв, что этот отъезд означает вечную разлуку, Печорин бросился в безумную погоню за Верой.

«Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния! При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья!»

Письмо Веры открыло Печорину, что в ней он терял единственную женщину, которая, осознав его недостатки, понимала его до конца, но ценила в нем то, что он сам больше всего ценил в себе: независимую особенность личности, гордую силу, влекущую властность, и все покрывала своей нерушимой любовью. Печорин почувствовал, что в Вере он теряет женщину, которую одну может признать родственной себе, — отсюда его страстный порыв вернуть ее какой угодно ценой: в ее любви он видит теперь все свое счастье. Когда же это оказалось невозможным, Печорин предается безудержному слезному отчаянию, в котором до конца обнаруживается его безысходное одиночество, даже сиротство, лишь прикрываемое обычной «твердостью и хладнокровием». Неудачу с Верой Печорин рассматривает как катастрофу, навсегда разгромившую его жизнь: «Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул *сном Наполеона после Ватерлоо*». В черновике здесь стояло: «*заснул богатырским сном*». В окончательной редакции — этот безразличный, банальный «богатырский сон» сменился сном после поражения, но не простого поражения, а пере-

[1] Здесь наблюдается родство Печорина с шатобриановским Рене, который пишет в письме к Селюте: «Не думай, что отныне ты сможешь безнаказанно получать ласки от другого мужчины; не думай, что слабые объятия могут изгладить в твоей душе воспоминания о Рене... Не думай, что женщина может забыть того, кто любил ее этой необычайной любовью». См. Родзевич С. И., Лермонтов как романист, Киев 1914, стр. 55.

несенного человеком воли и силы, которым увлекалось как героем все поколенье Печорина вместе со своими поэтами: сравнение исходит из самого образа и положения Печорина.

Как всегда, общение с природой вернуло Печорину его силы: «ночная роса и горный ветер освежил и мою горящую голову, и мысли пришли в обычный порядок...» После этого признания в первоначальном тексте следовало: «Я стал припоминать выражения письма Веры; старался объяснить себе причины, побудившие ее к этой странной трагической выходке.

Вот последовательный порядок моих размышлений:

1. Если она меня любит, то зачем же так скоро уехала и не простясь, не полюбопытствовав даже узнать, убит я или нет? — не верю я этим предчувствиям сердца, да и ей бы не должно на них так слепо полагаться.

2. Но ведь нам надобно же было когда-нибудь расставаться, и она хотела своим письмом произвести на меня в последний раз глубокое, неизгладимое впечатление. Эгоизм!..

3. Женщины вообще любят драматизировать свои чувства и поступки; сделать сцену почитают они обязанностью.

4. Но тут еще, может быть, скрывается маленькая ревность. Вера думает, что я влюблен в княжну и (уступает) хочет своим великодушием привязать меня больше к себе или даже, зная мой характер, она думает, что я княжну оставлю и погонюсь за нею, потому что блага, которые мы теряем, получают в глазах наших двойную цену. Если так, то она ошиблась; я слишком ленив.

5. Если она великодушно уступает меня княжне: это от нее, пожалуй, станется! но в таком случае она меня не любит.

6. И какое же право я имею требовать ее любви?—разве не я первый начал (встречать) платить за ее ласки холодностью, за жертвы равнодушием и насмешкой?

7. Теперь, когда я знаю, что все между нами кончено, мне кажется, что я ее любил истинно. Одно меня печалит: это письмо. Неужели она не могла обойтись без пышных фраз и декламации.

8. Я был дурак, что так мучился несколько часов сряду: вот что значит расстроенные нервы, ночь без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

9. Впрочем, все к лучшему. (Это новая горесть.) Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне ужасную диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден (возвратиться

пешком) на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих».

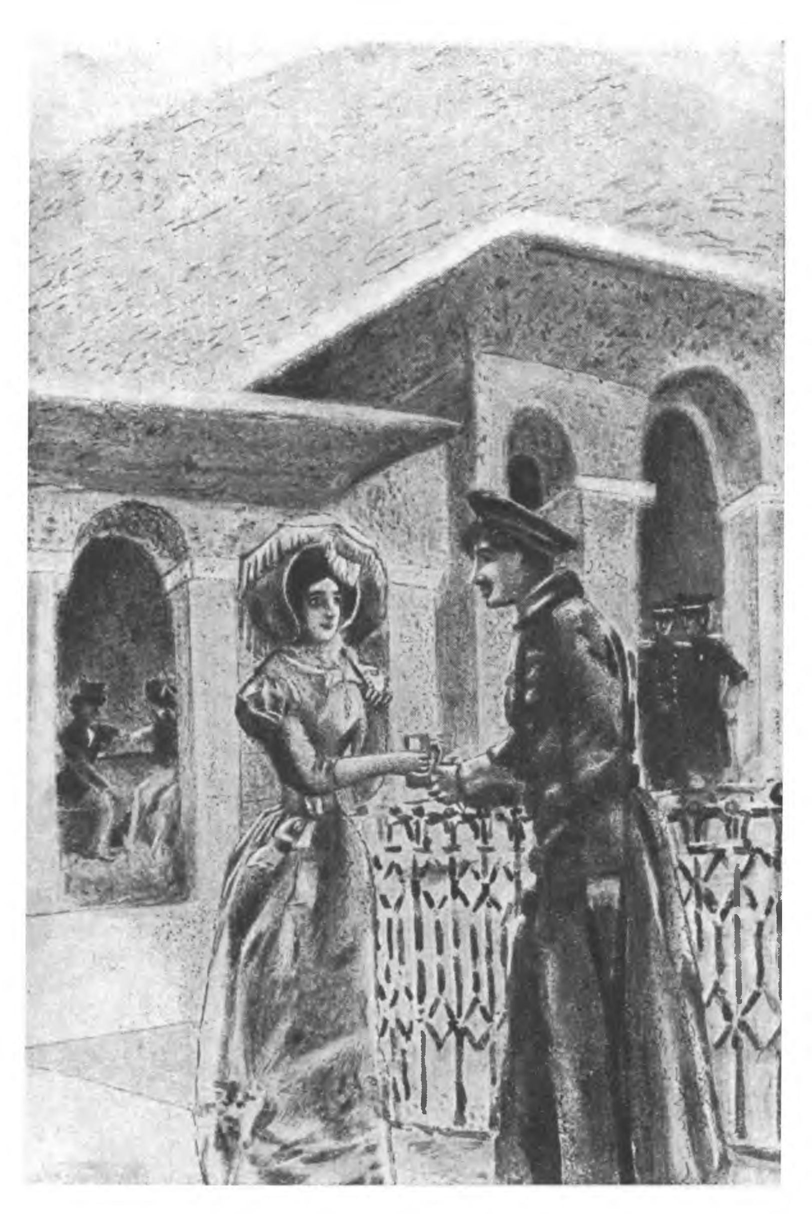
Все эти 9 пунктов размышлений Печорина объединены одним устремлением — ядом скепсиса пытаются они вытравить правду и важность случившегося с Печориным. Лермонтов вычеркнул их из окончательной редакции романа, заменив их горьким и искренним признанием: «Я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно». Лермонтов оставил за случившимся характер катастрофы, воспринимаемой Печориным, как Ватерлоо, если не его жизни, то его счастья.

КНЯЖНА МЕРИ

Княжне Мери посвящена Лермонтовым самая обширная из повестей, образующих его роман, но в жизни героя этого романа Мери занимает место несравненно меньше, чем Бэла, которой посвящена небольшая повесть, и чем Вера, которая лишь мелькает в нескольких записях «Княжны Мери». В то время, как Бэле была отдана вспышка настоящей страсти Печорина, а чувство свое к Вере он осознал, в конце концов, как любовь к единственной женщине, которую он мог взять себе в спутницы целой жизни, встреча Печорина с Мери и искание им ее любви были скорее главным приемом его борьбы с Грушницким, чем проявлением зарождающегося, еще неосознанного чувства любви к ней. Встретившись в эту же пору с Верой, Печорин отдается возобновлению своей истинной старой любви к ней, и тем яснее он отдает себе отчет в действительной природе своих чувств к Мери; когда Печорин, в конце концов, говорит ей: «Я не люблю вас», он говорит правду.

С Мери связана у Печорина не любовь, как с Верой, и не страстное увлечение, как с Бэлой, — с Мери связан у него один из тех опасных опытов освоения женского сердца, которых было в жизни у него так много и которые, в конце концов, так ему прискучили. Встретив со стороны Мери серьезное чувство, Печорин прервал этот опыт, — как прервал бы такой опыт со всякой другой девушкой, в которой нашел бы такой же серьезный отклик, как в Мери.

Рисуя Веру, Лермонтов оставляет в тени все, что касается ее психологических или культурных связей с ее средой и обществом: она вся раскрывается перед нами только со стороны своего чувства к Печорину. Наоборот, рисуя Мери, Лермонтов чрезвычайно отчетливо рисует ее, как человека



Грушницкий и княжна Мери.

(С рисунка М. А. Врубеля.)

своего времени, социального положения и своей культурной среды.

С княжной Мери и ее матерью, княгиней Лиговской, знакомит Печорина Вернер: «Княгиня — женщина 45 лет... Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела... Она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость...»

Лиговские не принадлежат к петербургской новой знати, «жадною толпой стоящей у трона»: это один из тех старых «игрою счастья обиженных родов», к которым принадлежали А. С. Пушкин и сам Лермонтов. Лиговские — как видно из дальнейшего заявления княгини: «Я богата» — еще сохранили прочную поместную базу, но уже утеряли всякое значение в правящих и придворных кругах. Лермонтов подчеркивает, что они связаны не с правящим и влиятельным Петербургом, а с Москвой, где, постепенно разоряясь в хлебосольстве, проживало дворянство в отставке. Княжна Мери — «была одну зиму в Петербурге и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли». В Петербурге у Лиговских нет связей, им там не нашлось социального места. Вернер, прежде сам живший в Москве (позволительна догадка: по собственной ли воле попал Вернер на Кавказ?), с иронией отмечает московский «особый отпечаток» на Лиговских. Освобожденные от вихря петербургской великосветской занятости, московские «барышни пустились в ученость»: кроме обязательного для всех дворянских барышень французского языка, они занимаются еще английским. Сам Печорин записывает в свой журнал про Мери: «Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с ней».

Княжну поражает упорное отщепенство Печорина от людей его социального круга: по ее мнению, человек, принадлежащий к высшему аристократическому кругу Петербурга, уже в силу одного этого, очутившись в пестрой среде, каково «водное общество» должен искать людей, равных себе по положению в обществе. Таких людей, по убеждению княжны, Печорин может найти только в их гостиной.

Печорин подметил и занес в свой журнал следующий характерный эпизод. Раненый в ногу Грушницкий уронил стакан — и не мог его поднять. «Княжна Мери видела все это. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой



Прогулка Мери и Печорина. (С рисунка М. Ю. Лермонтова.)

прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галлерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видела, кажется, тотчас же успокоилась».

Прямое человеческое движение княжны—помочь больному Грушницкому поднять стакан — сейчас же корректируется и осуждается ею же самой с точки зрения обиходной классовой морали и закона «приличий»: великосветской девушке не подобает нисходить до нужд незнакомого армейского юнкера. Еще С. П. Шевырев отмечал здесь художническую зоркость Лермонтова:

«Мы любим в ней (в Мери) то сердечное человеческое движение, которое заставило ее поднять стакан бедному Грушницкому, когда он, опираясь на свой костыль, тщетно хотел к нему наклониться; мы понимаем и то, что она в это время покраснела; — но нам досадно на нее, когда она оглядывается на галлерею, боясь, чтобы мать не заметила ее прекрасного поступка. Мы отдаем всю справедливость наблюдательности (автора), которая искусно схватила черту предрассудка, не приносящего чести обществу, именующему себя христианским» [1].

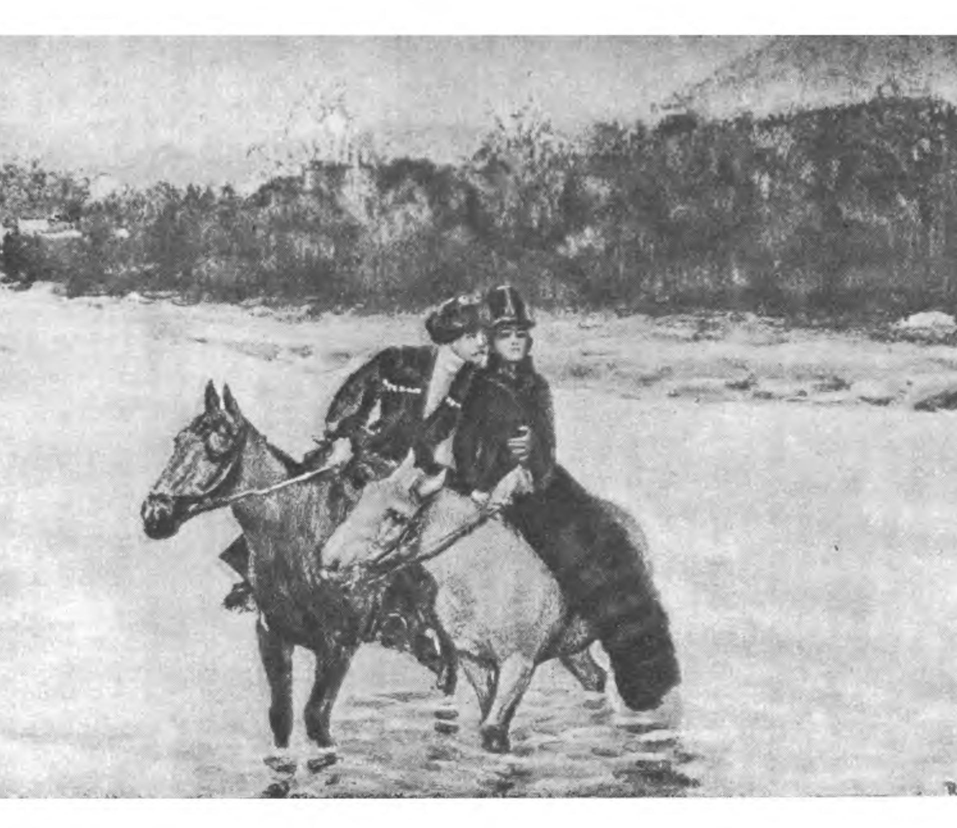
Вскормленница своей социальной среды, Мери дышит культурным воздухом своей эпохи и своего общества. Она не только читает Байрона по-английски, но и Марлинского по-русски. Она любит романтическое в книге и ищет его в жизни. Вот почему Грушницкий с его романтической позой и фразой так легко приковывает ее внимание, которое вот-вот готово сделаться вниманием сердца. Под его грубой солдатской шинелью ей мнится второй Марлинский или один из его несчастных, благородных и таинственных героев. Печорин открывает ей настоящее жизненное положение Грушницкого и — вызывает в ней полное разочарование.

«А разве он юнкер?..» — сказала она быстро и потом прибавила: — «а я думала...» — разжалованный офицер, должна была бы докончить Мери; то, что Грушницкий добровольно пошел в военную службу, лишает его всякого интереса в глазах московской княжны.

Но и сам Печорин сперва привлекает ее внимание с той же стороны, что и Грушницкий: «Княжне начинает нравиться мой разговор, я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного».

---

[1] «Москвитянин», кн. 2-я, 1841, стр. 525—526.



Печорин и княжна Мери. (С рисунка В. А. Серова.)

Одним из таких «странных случаев» могла быть история с контрабандистами, случившаяся с Печориным в Тамани. Вынесенный из книг интерес к романтической необычности толкает княжну на усиленное внимание к личности Печорина, как только что толкал на заинтересованность Грушницким.

Белинский делает верный вывод (статья 1840 г.): «Княжна Мери — девушка не глупая, но и не пустая. Ее направление несколько идеально, в детском смысле этого слова: ей мало любить человека, к которому влекло бы ее чувство, непременно надо, чтобы он был несчастен и ходил в толстой и серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятным и таинственным и быть дерзким. В ее направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и несравненно выше его».

Образу княжны Мери долго и много искали прототипов. Самым веским указанием на след прототипа остаются слова Н. М. Сатина, что «те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали княжну Мери» [1]. Однако ни один из намеченных мемуаристами прототипов не выдерживает ни малейшего критического сопоставления с образом Мери. Гораздо определеннее социальные и литературные истоки образа. «В образе княжны воплощены дорогие для Печорина черты его собственной среды — благородства и гордость. Печорин в своей истории с Мери как бы подвергает эту героиню испытанию в аристократизме, ставя ее в ряд затруднительных положений и наблюдая, как она из них выпутывается. И Мери с честью выдерживает это испытание: нигде она не теряет своего достоинства, не становится ни пошлой, ни трусливой, ни мещански жалкой» [2]. Свое достоинство сохраняет Мери и в сцене у колодца, где ей приходится говорить с Печориным в таком положении, делать такое самопризнание, которое было бы немыслимо для рядовой девушки ее жизненной прослойки. «Благородная по натуре княжна не могла допустить мысли, чтобы Печорин играл ее чувством. Видя, что он колеблется сделать решительный шаг, и объясняя по-своему его нерешительность, она делает усилие над собою, побеждает свою стыдливость и сама первая говорит ему великое слово: «люблю» [3].

---

[1] «Почин», 1895, стр. 239.

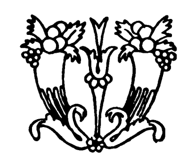
[2] Шувалов С. В., Поэзия Лермонтова, Сб. «Классики в марксистском освещении. Лермонтов», М. 1928, стр. 132—133.

[3] Стороженко Н. И., Женские типы, созданные Лермонтовым, «Русские Ведомости» № 104, 1891.

Мери идет даже на признание, которое ее, в какой-то отдаленной степени, сближает с женами декабристов: она готова разделить с Печориным тягости его изгнания, причины и тяготы которого она явно преувеличивает: «или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю». Быть может, эта серьезность чувства Мери, ее способность на жертву и была причиной прямого и честного ответа Печорина: «Я вас не люблю». Этот ответ и вся предыдущая ситуация: положение Мери по отношению к Печорину, ее прямое объяснение с ним—напоминают другую такую же встречу: Татьяны с Онегиным. Как у Печорина с Онегиным, у Мери есть родство с Татьяной. Драматичность положения, однако, уменьшается тем, что чувство Татьяны к Онегину несравненно независимей и глубже чувства Мери к Печорину, а контраст социальных позиций: великосветский дэнди — провинциальная барышня — усиливает и трепетность письма Татьяны, и горечь полученного ею отказа.

За час до своей высылки из Кисловодска, после дуэли с Грушницким, Печорин объявил Мери:—«Княжна, вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня».

В свой день итогов Печорин, беспощадно к княжне Мери, но столь же беспощадно и к самому себе, подвел итог и своим отношениям с ней. Сознательно упрощая сущность этих отношений, он объявил ей, что только «смеялся» над нею. Это последнее испытание Мери выдержала с честью. «Она допустила обмануть себя, но когда увидела себя обманутой, она, как женщина, глубоко почувствовала свое оскорбление, и пала его жертвою, безответною, безмолвно страдающею, но без унижения, — и сцена ее последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему причиною то, что ее тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор» (В. Г. Белинский, статья 1840 г.).





«Герой нашего времени» имел огромный успех у читателя и писателя 1840-х годов. Те или иные стороны Печорина, положительные или отрицательные: гордая независимость и властность личности, глубокая разочарованность и умный скепсис по отношению к консервативным формам мысли и жизни, неотразимая привлекательность для женщин, дерзкая смелость поступков, острота суждений, блеск языка, — будили сочувственный (вплоть до подражания) отклик в различных группах читателей, воспринимавших Печорина с той стороны его личности и бытия, которая была близка самим воспринимавшим. Успех Печорина, так верно предсказанный Белинским (см. вступит. статью), был столь велик, что консервативный критик барон Е. Ф. Розен не устыдился публично порадоваться, что Лермонтов умер и не напишет уже второго Печорина: «Произведения Лермонтова, вероятно, понравятся еще молодым людям будущего поколения, в тот период жизни, когда дикое и отрицательное производит на людей какое-то прельстительное впечатление; но никто из нас, блюстителей русского Парнаса, не должен сожалеть о том, что пресеклось столь нехудожественное, столь горькое направление поэзии» [1].

---

[1] «Сын Отечества», кн. 1-я, ст. VI, 1849, стр. 31.

Обсуждая в 1862 г. литературную судьбу Печорина, разночинец Аполлон Григорьев, видевший в нем совершенное воплощение «хищного типа» русской жизни, признавал однако от лица всего своего поколения: «Печорин влек нас всех неотразимо и до сих пор еще может увлекать, и вероятно всегда будет увлекать — брожением необъятных сил, с одной стороны, и соединением с этим вместе северной сдержанности через присутствие в себе почти демонского холода самообладания. Ведь, может быть, этот, как женщина нервный, господин способен был бы умирать с холодным спокойствием Стеньки Разина в ужаснейших муках. Отвратительные и смешные стороны Печорина в нем нечто напускное, нечто миражное... основы же его характера трагичны, пожалуй, страшны, но никак уже не смешны... Вот этими-то своими сторонами Печорин не только был героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического» [1].

Роман Лермонтова был воспринят читателем как повесть о гибели высоко одаренного человека в тисках убогой действительности. Такой же отзвук пробудил роман Лермонтова и в писателях. «В Лермонтове и его направлении дошел до крайних степеней своих протест развитой личности против неразвитого быта. За Лермонтовым явилась отрицательная литература 30-х годов, потянулся длинный ряд повестей, кончавшихся прямо ли высказанным или подразумевающимся припевом: «И вот что может сделаться из человека». Припев этот по форме был заимствован у Гоголя, но он пелся на лермонтовский лад. В повестях этих, по воле и прихоти их авторов, совершались самые удивительные превращения с героями и героинями, задыхавшимися в грязной, бедной ощущениями и тупоумной действительности. Все это были более или менее поэмы о «необъятных», гибнущих даром силах...» [2].

Печорин стал родоначальником множества литературных потомков — различной жизненной достоверности и еще более различной художественной ценности.

В том же году и в том же журнале, где печатался «Герой нашего времени», появилась повесть гр. В. А. Соллогуба (1814—1882) — «Большой свет», в которой на фоне великосветского Петербурга, вместе с Мишей Леониным, этой пародией на самого Лермонтова, показан умный дэнди поневоле,

---

[1] Григорьев Ап., Крайние грани развития отрицательного взгляда, «Время» № 11, 1862, стр. 51.
[2] Там же, № 12, стр. 2.

Щетинин, отравленный разочарованием на образец Печорина и, как он, наделенный высокими задатками, лишенными роста в светской среде. Он с отвращением озирался вокруг себя. «Нередко находила на него хандра неописанная... Тогда голова его склонялась от пустоты и усталости. Тогда хватался он за грудь и чувствовал, что в ней билось сердце, созданное не для шума и блеска, а для жизни иной, для высшего таинства, — и тяжело было ему тогда, и хандра налагала на него свои острые когти. Но он, стыдясь ее, с сердцем, ноющим от скуки и горя неразгаданного, продолжал вести с товарищами жизнь разгульную и молодецкую, а в свете любезничать с дамами и щеголять напропалую». Между прочим, Щетинин, рисуясь своим разочарованием, предлагает кузине, с которой играет в любовь: «Хотите я буду играть в вист с вашей глухой тетушкой, а потом поеду слушать стихи Лермонтова и повести Сологуба?» [1]. Повесть Сологуба была известна Лермонтову.

Еще при жизни Лермонтова попытался написать своего Печорина поэт пушкинской школы, Н. М. Языков (1803—1846): в драматической сцене «Странный случай» (1841) он заставляет некоего москвича Скачкова приносить приятелю такую исповедь:

Живя и наслаждаясь наобум,
Я чрезвычайно скоро пресыщаюсь
Всем вообще и потому скитаюсь
Из края в край; мой беспокойный ум
Всегда чего-то ищет; мне с ним мука
Всегда и всюду, так уже давно,
Так и теперь... зачем? куда я? Скука,
Одно и то же, то же и одно
Томит меня, гнетет и гонит чудно
Домой, зачем? Скучать о тех землях,
Где я скучал недавно.

Скачков — это Печорин, не нашедший удовлетворения и в странствиях. Он томим раскаяньем в том, что «безрассудно, в пошлых явных пустяках теряет дни и месяцы, и годы». Славянофильствуя наподобие Шевырева, Языков заставляет своего маленького Печорина указать на причину своего жизненного банкротства: «не дано мне ровно никакого направленья первоначально, и в душе моей нет ничему приюта, утвержденья достойного». Если б «первоначальное направление», т. е. воспитание, Скачкову было дано в духе

---

[1] «Отечественные Записки», т. IX, 1840, стр. 20, 31.

православия, самодержавия, народности», думает Языков, из него не вышло бы Печорина.

В своем дневнике А. И. Герцен писал 11 сентября 1842 г.: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди, весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем наши страдания — почка, из которой разовьется их счастье. Поймут ли они, отчего мы — лентяи, отчего ищем всяких наслаждений, пьем вино и пр.?.. Отчего руки не подымаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски? О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем... мы заслужили их грусть».

В этих признаниях, выражающих самоощущение целого поколения, лежит объяснение, почему в представителях *западничества* роман Лермонтова нашел глубокий творческий отклик; какими своими сторонами Печорин был близок к людям 40-х годов, видно из приведенного признания Герцена.

Друг и соратник Герцена, Н. П. Огарев (1813—1877), был пламенным почитателем поэзии Лермонтова [1]. В стихотворении «Характер» [2] Огарев рисует Печорина:

Провел он буйно юные года:
Его везде пустым повесой звали,
Но жажды дел они в нем не узнали,
Да воли сильной, в мире никогда
Простора не имевшей... Дни бежали,
Жизнь тратилась без цели, без труда;
Кипела кровь бесплодно... Он был молод,
А в душу стал закрадываться холод.
. . . .
Влюблен он был, и разлюбил; потом
Любил, бросал, но — слабых душ мученья —
Не знал раскаянья и сожаленья.
Он рано поседел. В лице худом
Явилась бледность. Дерзкое презренье
Одно осталось в взоре огневом,
И речь его, сквозь уст едва раскрытых,
Была полна насмешек ядовитых.

В поэме «Юмор» (около 1841 г.), как и в позднейшей «Деревне» (1848), у Огарева звучат многие мотивы печоринского «безочарования» и тоски. Огарев («Юмор», ч. 3, гл. VI), правда, хочет бороться с печоринской вечной грустью и безвыходностью, он пытается даже уверить себя:

---

[1] См. его отзыв о поэте в поэме «Юмор», изд. «Academia», 1934.
[2] «Отечественные Записки», т. XX, 1842, стр. 128.

Я сам отстал
От этих барственных начал,
Нельзя итти, стремясь к добру,
На труд общественного дела,
Поэтизируя хандру
И усталь сердца, усталь тела.

Тем не менее он невластен преодолеть и в 1840-х годах настроений, родственных именно печоринскому самоанализу и его мыслительной и жизненной безнадежности. Печорину нет выхода в живую общественность:

Не вступит праздною стопой
Отсев шляхетских поколений
В движенье жизни трудовой,
Ее страданий и стремлений,
Чтоб стать с народом — как должно —
В едином строе заодно.

Печорины умрут Печориными и —

Новый кряж взойдет у нас
С стремленьем чистым, мыслью зрелой.

Член кружка Станкевича, поэт В. И. Красов (1810—1855), так живо воспринял образ Печорина, героя своего времени, что откликнулся на него «Романсом Печорина»[1]. Красовский Печорин ко всему равнодушен и ждет смерти.

Как блудящая комета
Меж светил ничтожных света
Проношуся я.
Их блаженства не ценил я;
Что любил, все загубил я.
Знать, так создан я.
Годы бурей пролетели.
Я не понял верно цели.
И была ль она?
Я желал успокоенья
Сила сладкого забвенья
Сердцу не дана.
Пусть же рок меня встречает,
Жизнь казнит иль обольщает,
Все уж мне равно —
Будь то яд или зараза,
Или бой в горах Кавказа —
Я готов давно.

Аполлон Григорьев (1822—1864), в 1840-х годах действовавший как поэт-романтик, испытал сильнейшее влияние

[1] «Москвитянин» № 11, 1845, стр. 110—111.

Лермонтова (см. его приведенные выше признания) и варьировал образ Печорина в целом ряде своих поэм. «Отрывок из сказаний об одной темной жизни» [1], представляет собою слабый стихотворный вариант лермонтовского «сказания» с собственным эпилогом:

Веря одному уму,
Привык он чувство рассекать
Анатомическим ножом
И с тайным ужасом читать
Лишь эгоизм сокрытый в нем,
И знать, что в чувство ни в одно
Ему поверить не дано.
. . . .
Высокое чело
Носило резкую печать
Высоких дум... Но угадать
Вам было б нечего на нем...
Да взгляд его сиял огнем...
Как бездна темен и глубок,
Тот взгляд одно лишь выражал:
Высокий помысл иль упрек...
На нем так ясно почивал
Судьбы таинственный призыв.
К чему, — бог весть! Не совершив
Из дум любимых ни одной,
В деревне, при смерти больной,
Он смерти верить не хотел —
И умер. И его удел
Могилой темною сокрыт...

Второй, наиболее обработанный, вариант Печорина дает повесть в стихах «Олимпий Радин» [2]. В нем есть все, что полагается иметь «второму «я» Печорина: скептический ум («дерзко отвергал он много истин»), строгий анализ («в душе ль своей, в душе ль чужой неумолимо подводить любил он под итог простой все мысли, речи и дела»), смелость и острота речи («был смел и зол его язык»), разочарование во всем при крепкой жизненной силе («и здрав, и горд, и невредим».— «ни даже на волос любви к прошедшим снам»), внутренняя сила страсти и воли («еще просили страсти те не жизни старческой в мечте, а новой пищи, новых мук») и, наконец, в нем была «сила зла: она одна его речам... давала власть». Словом, Радин это второй Печорин по крови и по мысли, но Григорьев заставляет его уйти еще дальше в равнодушии к социальным исканиям своего времени. Печорин не говорит о них ни слова. Радин резко враждебен им:

---

[1] «Репертуар и Пантеон», т. IX, 1845.
[2] «Репертуар и Пантеон», т. X, 1845.

С насмешкой злобною потом
Распространялся он о том,
Как в новом мире все равны,
Как все спокойны будут в нем,
Как будут каждому даны
Все средства страсти развивать
Не умерщвляя, и к тому-ж
Свободно их употреблять
На обрабатыванье груш.

Это — злобный памфлет на социальное учение Ш. Фурье (1772—1837), которым в 1840-х годах увлекались «петрашевцы», Герцен, Салтыков, позднее — Чернышевский: по словам Герцена, фурьеризм для его поколения «всех глубже раскрыл вопрос о социализме».

Минуя бледную печоринскую вариацию в поэме «Ви́дения» [1], отметим «Предсмертную исповедь» [2]. В ней перед нами одинокий скептик: лечась от тоски странствиями, он попал туда, куда собирался Печорин — в Аравию, в Индию, «где он целенье думал обрести» —

И где под сенью пальм густых
Набобов видел он одних
Да утесненных и рабов,

Да жадных к прибыли купцов.

Ставка на Восток бита. Восток не дал новых впечатлений, отличных от тех, которые давала русская жизнь, и скиталец Григорьев вернулся из Индии таким же скучающим, как Печорин из Персии. Григорьевский Печорин четвертого варианта умирает с сознанием, скопированным из «Княжны Мери»: «по природе я к иным размерам бытия земного предназначен был»,— умирает, посылая, с печоринской последовательностью, «благословение уму за то, что он благославлять до смерти жизнь нам запретил». В пятом варианте в «рассказе в стихах» — «Встреча» [3] Григорьев заставляет Сергея Морового, Печорина арбенинского толка — «героя и властелина Москвы» — встретиться на балу с одной из жертв его донжуанского внимания, отверженной обществом: «молча, руку он подал ей, не на разлуку, на путь свободно-роковой».

Обилие печоринских вариантов и устойчивость образа, воплощаемого в них, свидетельствуют о том сильнейшем впечатлении, которое оказал на Ап. Григорьева лермонтовский Печорин. С этим впечатлением Ап. Григорьев долго боролся впоследствии в своих статьях, посвященных ниспровержению

---

[1] «Репертуар и Пантеон» № 3. том XIII, 1846.
[2] «Финский Вестник», т. IX, 1846.
[3] «Репертуар и Пантеон», № 8, т. XV, 1846.

хищного типа в русской литературе и жизни. В «Петербургском Сборнике» Н. А. Некрасова (СПБ 1846) и «были в стихах» «Две судьбы» А. Н. Майков (1821—1897) дал своеобразную проекцию одного из Печориных — в герое поэмы Владимире, стоящем как бы на перепутье между идеями Белинского и началами славянофильства. Позднее А. Н. Майков вспоминал, что ему хотелось «написать итальянскую поэму... героя взять из современных представителей (в «Двух судьбах») передовых людей, вроде Печорина, только университетского и начитавшегося творений Белинского, — хотя такого героя, как там взят Владимир, я и не видывал и в себе не чувствовал. От этого этот Владимир такой двойственный: в нем и русские чувства из «Москвитянина», они же и мои истинные, и Белинского западничество» [1]. В отличие от Печорина и в близость с героями Огарева, Владимир был не чужд туманных мечтаний о своем общественном призвании и деле: «для общества людей я посвящал все чувства лучшие, мечты святые, на благо им, я думал, я рожден — и мог бы быть... Гражданской доблестью кипел я рано». Однако эти мечты он скоро назвал «смешным и глупым сном». Дальше следовали обычные опыты Печорина: «Он овладел заманчивым искусством играть, шутить, и управлять чувством» женщин; Владимир пробовал предаться наукам и книгам, но «бросил их, назвавши их смешными»; ему «действовать хотелось». Как Печорин, Владимир порешил: «в воинственном разгуле есть больше жизни» и отправился на Кавказ. Война, как и Печорину, скоро опротивела ему: «вот факт простой: в каком-нибудь разграбленном ауле, в ущелии, стоишь на карауле. Где больше прозы?» Тоска забросила его в Италию, но и «вид блаженных южных стран» «рождал в нем грусть». В Риме влюбилась в Владимира одна итальянка Нина, — это Бэла майковского Печорина. Но он, видно, читавший повесть Лермонтова, знал, что́ выходит из любви «дикарок» и «Печориных», и отвечал своей Бэле: «Ко всему презренье питаю я... Тебя поймать в расставленную сеть легко; упиться ласками твоими и после к ним остыть, охолодеть и после бросить». История кончается тем, что Нину убивает влюбленный в нее Карлино, а Владимир облекается в обломовский халат в своем именьи:

За ужином я гуся буду есть
Да сыр. В еде спасенье только есть.

---

[1] Майков А. Н., Биографический очерк, составлен М. Л. Златковским, изд. 2-е, СПБ 1898, стр. 45.

Если у Языкова, Огарева, Красова и особенно у Ап. Григорьева все их «Печорины» кончают драматически или, во всяком случае, повествование о них останавливается на драматическом моменте, то у Майкова полупечоринец Владимир кончает комедией. Дальнейшие концы «Печориных» идут почти все к этому комическому исходу.

Комический исход ожидал, повидимому, и того печоринца, которого Константин Аксаков (1817—1860) пытался вывести в неоконченной комедии «Отвлеченные люди». Юрий Стременев приходит в отчаяние от печоринской страсти к самоанализу, мешающей ему любить: «Одна мысль о любви обдает меня холодом. Безумство, к чему оно? — А почему же бы не так? Но нет, нет! Как могу я влюбиться, когда я вижу в себе каждое движение в его зародыше, когда я не могу забыться ни на минуту, когда постоянный взор сознания устремлен в глубину души. Нет! Но мне невыносимо тяжело. Я не могу увлечься, не могу сделать ни одного искреннего движения; постоянный анализ встречает всякое чувство, и око каменеет при своем появлении. Боже мой! Нет во мне простоты; нет цельности ощущения. Ходит во мне постоянно одно, одно: мысль». К. Аксаков, со славянофильскою прямолинейностью, заставляет Стременева сознавать причину своих мыслительных недугов: «Так, я понимаю, от чего зарождаются они. Праздность, праздность, губящая многих. Крестьяне работают, а я нет... Какой бы ни был труд, но труд, действительный труд, необходим человеку. — Но где же найти труд?» — кончает Стременев свое размышление печоринским вопросом, столь понятным Герцену, Огареву и другим отщепенцам, вышедшим из круга дворянско-классового «дела» и еще не нашедшим себе никакого другого дела в истории [1]. Другой набросок полупечоринца на славянофильский лад К. Аксаков попытался сделать в также неоконченных «Сценах из современной жизни» [2].

«Герой нашего времени» произвел сильное впечатление на молодого И. С. Тургенева. Мемуаристы отмечают в молодом Тургеневе некий налет поверхностного «печоринства». П. В. Анненков вспоминает: «Самым позорным состоянием, в какое может попасть смертный, считал он в то время то состояние, когда человек походит на других. Он спасался от этой *страшной* участи, навязывая себе невозможные

---

[1] Аксаков К. С., Соч., под ред. Е. Ляцкого, т. I, СПБ 1915, стр. 581 и 587.

[2] Там же, стр. 271—273.

качества и особенности, даже пороки, лишь бы только они способствовали и его отличию от окружающих. Он усваивал своей физиономии черты, не вязавшиеся с ее добродушным, почти нежным выражением. Конечно, он никого не обманывал надолго, да и сам позабывал скоро черты, которые себе приписывал» [1]. И. А. Гончаров из встречи с Тургеневым в 1847 г. вынес такое впечатление: «Я видел, что он позирует, небрежничает, рисуется, представляет франта вроде Онегиных, Печориных и т. д., копируя их стать и обычай. Он сам, в откровенные минуты, признавался потом, что он с жадностью и завистью смотрел на тогдашних львов большого света, Столыпина (прозванного Монго) и поэта Лермонтова, когда ему случалось их встречать» [2].

А. П. Чехов верно приметил про одну из лучших комедий Тургенева: «Где тонко, там и рвется» написано в те времена (1846. — *С. Д.*), когда на лучших писателях было еще сильно заметно влияние Байрона и Лермонтова с его Печориным; Горский ведь тот же Печорин. Жидковатый и пошловатый, но все же Печорин» [3]. «Чуткий и тонкий художник, Тургенев, анализируя печоринский тип, раздвоил его. В своих героях со схожими фамилиями: Лучинов («Три портрета», 1845) и Лучков («Бреттер», 1846) — он постарался дать, в первом — героическую, а во втором пошлую сторону этого типа. Оба они офицеры, оба жестоки и безнравственны, оба держат в страхе окружающих; оба, не любя, добиваются любви понравившейся им девушки (Лучков, впрочем, только вначале удачно); оба убивают на дуэлях своих соперников, простых, честных и добрых малых. Но Лучинов умен, дьявольски находчив, решителен и смел, умеет безгранично подчинять себе и из всех затруднений всегда выходит победителем. Лучков же — неумный, необразованный, некрасивый офицер — решился оставаться загадкой и презирать то, в чем судьба ему отказала. Тургенев, сам одно время увлекавшийся печоринством, разложил этот тип: если Лучков жалок, то Лучинов при всей своей безнравственности — обаятелен» [4].

---

[1] Анненков П. В., «Литературные воспоминания», СПБ 1909, стр. 474.

[2] Гончаров И. А., Необыкновенная история. Сборник российск. публичн. библиотеки, т. II, вып. 1, Л. 1924. стр. 8—9.

[3] «Письма к О. Л. Книппер», изд. «Слово», Берлин 1924, стр. 333. Письмо от 24 марта 1903 г.

[4] Розанов И. Н., Отзвуки Лермонтова, Сб. «Венок Лермонтову», М. 1914, стр. 281—282. В рассказе Тургенева «Стук... стук... стук...» (1870) в образе офицера Теглева можно видеть вариацию типа «фаталиста», на манер лермонтовского Вулича с примесью черт Грушницкого.

В несомненном родстве с Печориным состоит тургеневский «Рудин» (1855). В письме к Наташе находим признания, родственные тем, что занесены на страницы печоринского дневника: «Мне природа дала много — я это знаю, но я умру, не оставив за собою никакого благотворительного следа. Все мое богатство пропадает даром; я не увижу плодов от семян своих. Мне недостает... я сам не могу сказать, чего именно недостает мне»... Он договаривает: у него нет способности «отдаться»: «я отдаюсь весь с жадностью вполне — и не могу отдаться»... «Подобно своим предшественникам, Онегину и Печорину, Рудин — вечный странник. Но он выгодно отличается от них тем, что он — горемыка, между тем как они — баловни. Барское баловство и пресыщенность жизнью и впечатлениями идет, уменьшаясь: в Печорине уже немного меньше этого «добра», чем в Онегине, в Рудине уже совсем мало. Параллельно этому идет, увеличиваясь, душевная содержательность: Рудин при всех своих недостатках, несомненно, богаче душевным содержанием не только Онегина, но и Печорина... Он увлекается идеями философскими, поэтическими, общественными, как не умели увлекаться Онегины и Печорины» [1].

Лермонтов был одним из любимейших писателей молодого Л. Н. Толстого (1828—1910) (см. отзыв Толстого о «Тамани»). В «Записках о Кавказе» (1852) Толстой пишет: «В детстве или в первой юности я читал Марлинского, и разумеется с восторгом, читал тоже с неменьшим наслаждением кавказские сочинения Лермонтова» [2]. В «Набеге» Толстой выводит поручика Розенкранца — «одного из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму «героев нашего времени», Мулла-Нуров [3] и т. п. и во всех действиях руководятся не собственными наклонностями, а примером этих образцов». Розенкранц — невольно копирует Грушницкого. Толстой разоблачает это копирование. «Часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороге, чтобы подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он (поручик Розенкранц)

---

[1] Овсянико-Куликовский Д. Н., История русской интеллигенции, ч. 1-я, М. 1906, стр. 167.

[2] Толстой Л. Н., Собр. соч., Юбилейное издание, т. III, М. 1932, стр. 215.

[3] «Мулла-Нур» повесть А. А. Бестужева (Марлинского).

будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел... Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его, черкешенка, разумеется, ...говорила, что он был самый добрый и кроткий человек». Розенкранцу, печоринствующему по Грушницкому, в «Набеге» противопоставлен второй Максим Максимыч — капитан Хлопов с его спокойной храбростью и мужественной простотою.

Печорина в «Набеге» нет; у него есть параллель в Оленине, выведенном в «Казаках» (1852—1862). Образ Оленина у Толстого независим от «Героя нашего времени», но на жизненный след этого лица Толстого навел, несомненно, Лермонтов. У Оленина — общие с Печориным класс, экономика, культура, психический склад: он такой же крайний индивидуалист; в нем так же богато волевое начало; он так же стремится «условий света свергнуть бремя» на диком Кавказе; он так же ищет любви дикарки: в мечтах — черкешенки («она меж гор представляется воображению в виде черкешенки-рабыни»), в жизни — казачки (вся фабула повести построена на искании Олениным любви Марьянки); он так же страстно любит природу (с теми же философскими, психологическими и социологическими предпосылками этой любви); он такой же страстный охотник... — и в нем, наконец, та же внутренняя неудовлетворенность собой и жизнью. Оленин — не Печорин, но в нем та же кровная близость к нему, как у Толстого близость к Лермонтову, которую Толстой сознавал так отчетливо, говоря: «Тургенев — литератор. Пушкин был тоже им... Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев, Лермонтов и я не литераторы» [1].

Опуская бледную фигуру Мерича в комедии А. Н. Островского «Бедная невеста» (1852), в которой кое-какие черты Печорина отражены через кривое зеркало — Грушницкого, переходим к двум повестям А. Ф. Писемского (1820—1881) — «Тюфяк» (1850) и «Господин Батманов» (1852).

В «Тюфяке» на амплуа провинциального Печорина выступает Бахтиаров: все это амплуа для него исчерпывается поверхностным дэндизмом и дерзким сердцеедством сначала в среднем, а потом в большом свете столицы; финансовое оскудение приводит петербургского дэнди к женитьбе на богатой купчихе. Как большая редкость в разновидностях Печорина, Бахтиаров пробует заняться сельским хозяйством. После

---

[1] Русанов Г. А., Поездка в Ясную Поляну, «Толстовский ежегодник на 1912 год», М. 1913, стр. 69.

неудачи он окончательно примиряется с комическим жребием бессменного дэнди провинциальных гостиных.

Гораздо ярче печоринская вариация в «Батманове». Писемский с грузным комизмом, с полнокровной жизненностью дает пародию на Печорина — в Батманове, на Грушницкого — в Капринском, и если не пародию, то какие-то комические параллели к Вере и Мери намечает в Науновой и Бетси. Батманов, подобно Печорину, был сослан на Кавказ, выказал отчаянную храбрость, «первый зажег осажденный аул, отбился в одиночку от нескольких черкесов», вышел из-за какого-то любовного происшествия в отставку в Москве, «имел две-три истории в Английском клубе и, наконец, спустился в О-е общество». Ссора Батманова с Капринским (его подражателем наподобие Грушницкого) едва не кончается дуэлью; после скандала Батманову приходится покинуть и О-е общество. Пародическая окраска фигуры Батманова особенно ясна из отдельных эпизодов и деталей повести. Батманов «бредит Байроном и воображает себя Чайльд-Гарольдом». Науновой, исполняющей роль Веры, он предлагает повторить беседы Печорина с Вернером: «Мы будем превосходные собеседники, т. е. целые дни можем молчать в силу лермонтовского закона, что умным людям не следует говорить много между собой». Отказ свой от женитьбы он формулирует прямо по Печорину: «Я ни на вас, ни на ком в свете не могу жениться, потому что буду иметь несчастие возненавидеть всякую женщину, которая назовется моей женой». Он пишет стихи под Лермонтова и т. д. После сообщения о конце Батманова: «он управляет делами одной очень пожилой и богатой вдовы-купчихи, живет у нее в доме, ходит весь залитый в брильянтах» — повесть заканчивается фразой: «Чем, подумаешь, ни разрешалось русское разочарование!»

Роман М. В. Авдеева «Тамарин» (1852), — в намерении автора, — ставил задачей показать одного из Печориных, порожденных в обществе романом Лермонтова: «люди с умом сильным, с душой, жаждущей деятельности, увлеклись печоринством: оно успокаивало их неугомонное самолюбие, давало пищу их бессильной энергии. Оно помогало им обманывать самих себя». В действительности Авдеев написал подражание Лермонтову, копируя его героя и его роман. Самая фамилия героя ведет свое происхождение от героини «Демона». Как и произведение Лермонтова, роман Авдеева состоит из отдельных повестей: первая из них «Варенька. Рассказ Ивана Васильевича» соответствует «Бэле» с ее рассказом Максима Максимыча,

вторая — «Тетрадь из записок Тамарина» напоминает дневник Печорина. Все важнейшие персонажи Лермонтова нашли прилежных исполнителей-копиистов у Авдеева: роль Веры играет баронесса, вышедшая за старика и давно близкая с Тамариным, роль княжны Мери исполняет Варенька, Вернера — Федор Федорович, Максим Максимыча — Иван Васильевич. Рисуя внешность Тамарина, Авдеев переписал портрет Печорина вплоть до его глаз: Тамарин «был среднего роста, тонок и чрезвычайно строен; ноги и руки крошечные, но мускулистые; черты лица правильные, умные и чрезвычайно спокойные; волосы светлые, мягкие, шелковистые; глаза большие, карие, прекрасные глаза, но странные. Обыкновенно они, как и все лицо его, были очень холодны и покойны; но казалось, в глубине их таилась какая-то особенная сила».

О сходстве сценировки отдельных важнейших эпизодов «Тамарина» с «Героем нашего времени» можно судить, сопоставив сцену отъезда Веры из «Княжны Мери» со сценой отъезда баронессы (тот и другой отъезд сообщается в «письмах» к герою): «Мои предчувствия сбылись! любовь этой девочки принесла мне несчастие. Я погибла, Тамарин, погибла, потому что расстаюсь с тобой, быть может, навсегда! Муж мой узнал все; он везет меня. Вокруг меня увязывают вещи, готовят экипаж; люди не понимают причины отъезда и ходят, как растерянные; барон бранит их. Но какое мне до них дело!»

Авдеев в сущности дал пародию на лермонтовский роман. По остроумному замечанию Чернышевского, Тамарин — это Грушницкий, явившийся Авдееву в образе Печорина. Чернышевский приводит ряд фраз Тамарина совершенно в духе Грушницкого. «Не верится заявлению Авдееева, что в своем романе он исходил из наблюдений над жизнью: почти в каждой строке видишь знакомство автора с лермонтовским произведением» [1].

В знаменитой статье «Что такое обломовщина?» (1859) Н. А. Добролюбов причислил Печорина к виду «обломовцев», лишних людей лишнего класса, ликвидация которого была поставлена на очередь историей. «Типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоя-

---

[1] Розанов И. Н., Отзвуки Лермонтова, Сб. «Венок Лермонтову», стр. 284.

тельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова» [1].

Вульгаризируя линию Добролюбова, М. П. Розенгейм в «Последней элегии» (1858—1868) ставил знак равенства между Печориным и Тамариным:

Где же люди веры? где же люди силы,
Люди убеждений неподкупно твердых,
Под грозою крепких, пред подачкой гордых?
. . . .
Вот они, взгляните, смех и жалость вчуже —
Солнечного диска отраженье в луже,
Русские подделки мрачного Гамлета,
Но могучий образ вечного поэта
Так же по плечу нам, как холопу барин;
Наш Гамлет — Печорин, наш Гамлет — Тамарин —
Люди отрицанья мелкого и злого,
Люди эгоизма, фатовства пустого.
Под плащом Гамлета наглое бретерство,
Желчная бездарность, пошлое фразерство [2].

Перестав нести какую-либо прогрессивную общественную функцию, какую он нес в 1840-х и начале 1850-х годов, образ Печорина еще не осознанный исторически, снизился, в сознании передового демократического читателя эпохи 1860-х годов, до пародии, до комического персонажа. В «Истории моего современника» В. Г. Короленко находим такую аттестацию Печорину и его предкам, даваемую радикальным учителем-шестидесятником: «С Печориными дело давно покончено. Из литературной гвардии они уже разжалованы в инвалидную команду, и теперь разве гарнизонные офицеры прельщают

---

[1] Для верного понимания отношения Добролюбова к Лермонтову как раз перед написанием статьи об Обломове необходимо помнить запись его дневника от 30 января 1857 г.: «Лермонтова, Кольцова и Некрасова читал я с сочувствием: но это было во-первых, скорее *согласие*, нежели сочувствие, и во-вторых, там возбуждались все отрицательные чувства, желчь разливалась, кровь кипела враждой и злобой, сердце поворачивалось от негодования и тоскливого бессильного бешенства: таково было общее впечатление». (Дневник, 1851—1859, под ред. Валер. Полонского, изд. 2-е Политкаторжан, М. 1932, стр. 230). Запись эта не оставляет сомнения, что и на Добролюбова, как на людей 1840-х годов, Лермонтов влиял в духе резкого отрицания действительности и порождал чувство ненависти, толкавшее на борьбу с нею: не даром имя Лермонтова стоит здесь рядом с именем Некрасова — певца крестьянской революции.

[2] Розенгейм М. П., Стихотворения, изд. 3-е, СПБ 1882, стр. 311.

уездных барышень печоринским «разочарованием»[1]. Классическое выражение этой точки зрения находим в статье В. Зайцева[2], утверждавшего, что «вся разница между «разочарованными» писарями из любой канцелярии и Печориными состоит в том, что последние говорят лучше их по-французски и носят сюртуки модного покроя, как и они, но сшитые не из солдатского, а из тонкого сукна»[3].

В 1890-х годах Печорин еще раз появился на свете в драме А. И. Сумбатова «Старый закал» (1895), под псевдонимом гр. Белоборского. Действие пьесы начинается в Петербурге, а продолжается и оканчивается на Кавказе, в начале 1850-х годов. Внешность графа автор описывает по Печорину. Белоборского, как Печорина, за «дуэли» и другие истории переводят из гвардии на Кавказ. Там, в жене пожилого полковника Олтина, старого кавказца, Максима Максимыча по доблести и благородству, Белоборский узнает Веру, которую любил в Петербурге и женитьбы на которой испугался, как все Печорины большие и малые. В Вере мы находим это сочетание лермонтовской Веры с княжной Мери. Холодный злобно-остроумный Белоборский, всколыхнув старое чувство, влюбляется в Веру, как Онегин в Татьяну. Вера отвергает его любовь. Женатый Максим Максимыч, полковник Олтин, случайно узнав о любви Веры и Белоборского, устраняет себя с их пути, ища и найдя смерть в сражении. В «Старом закале» не обошлось и без Грушницкого: его роль, в сокращенном виде, исполняет поручик Корнев, предмет насмешек Белоборского. Дело не доходит у них здесь до дуэли только потому, что батальон выступает в поход. «Старый закал» — своеобразная поздняя инсценировка на мотивы «Героя нашего времени» с прологом из «Княгини Лиговской». Должно быть поэтому пьеса с успехом лет двадцать держалась на сцене.

---

[1] Короленко В. Г., История моего современника, ч. 1-я, гл. XXVII.

[2] «Русское Слово» № 6, отд. II, 1863, стр. 13—28.

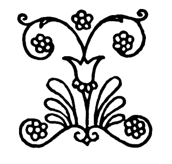
[3] Последний прямой перепев Печорина можно видеть в запоздалом, подражательном произведении Н. Жандра «Снег». Роман минувшей эпохи, СПБ 1864. В этом романе, написанном размером «Онегина», в образе графа Зорича неудачно соединены черты Онегина и Печорина, с перевесом на стороне последнего. — Одну из последних прозаических вариаций Печорина находим в фигуре Тарнеева в романе В. Крестовского (псевдоним Н. Д. Хвощинской) — «Встреча». В числе печатавшихся в «Современнике» 1850-х годов пародий «Нового поэта» (коллективный псевдоним Н. А. Некрасова, И. И. Панаева и др.) встречаем «Признания провинциального Печорина».

Едва ли не последним приметным отзвуком «Героя нашего времени» является правдивая фигура офицера Соленого в драме А. П. Чехова «Три сестры» (1901). Самонадеянно заявляющий про себя: «у меня характер Лермонтова», Соленый собственную ограниченность, озлобленность и обидчивую замкнутость драпирует в изношенную бурку какого-то из провинциальных копиистов Печорина. Ближе всего он к Лучкову из тургеневского «Бреттера». Подобно ему, он ни за что ни про что убивает на дуэли Тузенбаха, имевшего несчастье пользоваться вниманием девушки, отвергшей Соленого. В застое русской жизни 1890-х годов Соленые воскрешали худшие стороны армейского «печоринства» 1840—1850-х годов.

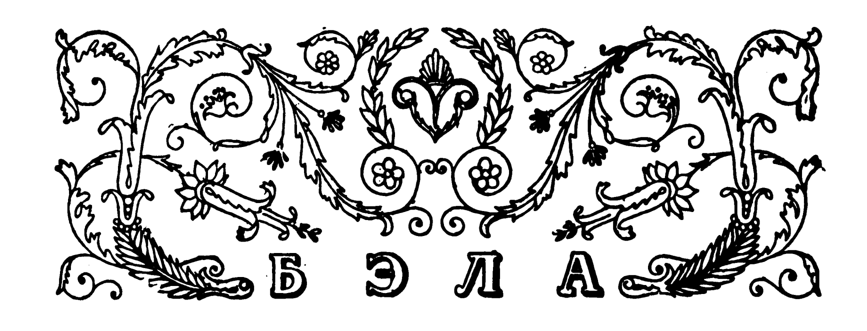
Октябрьская социалистическая революция навсегда ликвидировала класс, к которому принадлежал Печорин. С этой ликвидацией пресеклось навсегда и литературное потомство Печорина [1].

---

[1] След былого жизненно-литературного успеха Печорина изредка обнаруживается в газетах; среди объявлений о перемене фамилий, в месяц раза 2—3 мелькнут Кривопузовы или Асамбаевы, желающие стать Печориными (см. напр. «Известия» № 45, 1934).




МАТЕРИАЛЫ
К ИЗУЧЕНИЮ
РОМАНА



ПОВЕСТЬ «Бэла» не имеет у автора никаких делений, но она естественно разделяется на четыре части: 1) Встреча офицера, автора «записок», с Максимом Максимычем; 2) Рассказ Максима Максимыча про Печорина и Бэлу, обрывающийся по условиям «перевала» через горы — смертью отца Бэлы; 3) Подъем и спуск с Крестовой горы и 4) Окончание рассказа Максима Максимыча во время вынужденного привала в сакле осетин, не доезжая Коби. Сообразно с этим делением будем рассматривать материал повести.

I

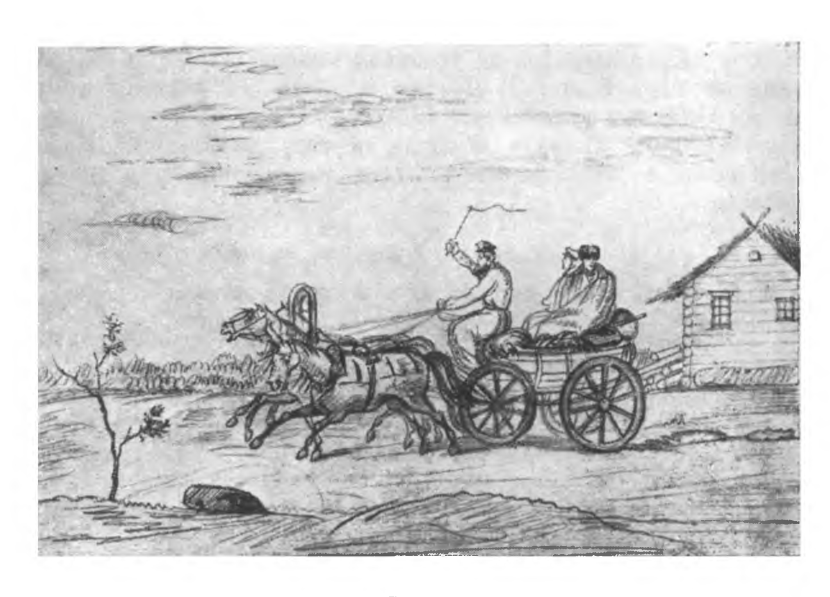
«Я ехал на перекладных из Тифлиса...»

Повествователь-офицер и его спутник — штабс-капитан Максим Максимыч едут по Военно-Грузинской дороге, в направлении из Грузии к Владикавказу (ныне Орджоникидзе). В «Бэле» описывается перевал через самую трудную и высокую часть пути между станциями Пассанаур (83½ версты от Тифлиса) — Койшаур (в 19 верстах от Пассанаура) и Коби (в 16 верстах от Койшаура и в 58½ верстах от Владикавказа) [1].

[1] «Кавказский дорожник», «Кавказский календарь на 1848 год», Тифлис 1847, стр. 81.

Военно-Грузинская дорога, пересекающая центральную часть Кавказского хребта по долинам Терека, текущего на север с ледников Казбека, и Арагвы, текущей оттуда же на юг, была важнейшим и единственно-удобным путем, соединявшим закавказские колониальные владения России (Грузия, Мингрелия, Имеретия, Армения), присоединенные к империи в 1801, 1803, 1810, 1828 гг., с исконной Россией. Дорога служила целям военного внедрения в Кавказ и экономического освоения края. Начинаясь от г. Екатеринодара (см. «Максим Максимыч»), Военно-Грузинская дорога шла на Владикавказ и через Дарьяльское ущелье и долину реки Арагвы достигала Тифлиса, где было сосредоточено русское военное управление краем. Еще до присоединения Грузии, в 1799 г. русское правительство открыло постоянное сообщение между Тифлисом и Владикавказом, обеспечивая его воинской силой. В 1804 г. восстание осетин прервало постройку дороги. Восстание было подавлено и постройка была доведена до конца.

Максим Максимыч и офицер-повествователь едут на «перекладных», т. е. на казенных почтовых лошадях, которых перепрягают на почтовых станциях. Пассажир, ехавший на



Тройка.
(С рисунка М. Ю. Лермонтова.)



ОТКРЫТЫЙ ПРИКАЗЪ

По приказанію Господина Командующаго войсками на Кавказской линіи и въ Черноморіи, посланному по скорымъ дѣламъ службы, отъ Тамани до Пятигорска лейбъ Гвардіи Гусарскаго полка г. Поручику Князю Васильчикову

№ 3411

предписываю отъ казачьихъ постовъ и конвойныхъ командъ, подъ сѣздъ давать по три лошади и въ конвой по Два конно-вооруженныхъ казака безъ задержанія. Въ Тамани іюля 15 дня 183 года.

Исправляющій Должность Начальника Штаба войскъ Кавказской линіи и Черноморіи, Флигель-Адъютантъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Полковникъ

Подорожная 1839 г. из Тамани в Пятигорск.

(Из частного собрания.)

почтовых, должен был иметь «подорожную», в которой указывались маршрут, должность и фамилия пассажира и обозначалось по казенной или по своей надобности он едет, каких лошадей следовало запрягать ему на станциях — «почтовых» или «курьерских» и число лошадей. «Прогоны», т. е. плата за каждую лошадь и версту, взимались в зависимости от тракта. Число лошадей, которое имел право требовать проезжий, обусловливалось его чином и званием. Максим Максимыч как штабс-капитан (9 класс) имел право на три лошади. Кроме казенных «почтовых станций», на дороге расположены были и частные «духаны», харчевни, где ютились на ночлег грузины и «горцы», т. е. черкесы, чеченцы, осетины и пр. Лермонтов заставляет офицера-повествователя приметить возле духана и «караван верблюдов». Захват русским правительством Закавказья в 1802—1829 гг. открыл возможность прямой караванной торговли России с Персией и Турцией.

Описание перевала через Крестовую Лермонтов предваряет контрастным описанием одной из «роскошной Грузии долин». Этот контраст сурового горного перевала и цветущей долины Арагвы отметил и Пушкин в «Путешествии в Арзрум».

Военно-Грузинская дорога, описанная Лермонтовым в прозе и в стихах («Демон»), привлекала его и как живописца. По словам П. А. Висковатова, «у А. А. Краевского находилась картина масляными красками, изображающая место действия «Мцыри» на берегу Арагвы. Эта картина была снята Лермонтовым с натуры. У меня хранится подобный же снимок, сделанный поэтом с Крестовой и Гуд-горы и подаренный им по возвращении с Кавказа в 1838 г. княгине Одоевской» [1].

Подъем в гору «тележки» на быках, нанимаемых у осетин, описывает и Пушкин: «Услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: осьмнадцать пар тощих малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О.» («Путешествие в Арзрум»). Пушкин дает простую передачу *факта,* не ставя большое число быков (36) ни в какую связь с «плутовством» осетин, их хозяев.

У Лермонтова Максим Максимыч, — при подобных же тяжелых условиях подъема, — меньшее число быков, требуемых для подъема коляски, объясняет «плутовством» осетин-погонщиков: черта, характерная для военного служаки, находящегося всегда настороже в завоеванном краю и видящего в туземцах или врагов, или плутов.

«— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, — отвечал он приосанившись»...

«Алексей Петрович» — генерал Ермолов, начальник русских войск на Кавказе в 1816—1827 гг. (См. о нем в очерке «Кавказ и кавказцы».)

Ермолов был неопровержимым авторитетом в глазах кавказского офицерства, которое как особая каста было выковано именно в ермоловское время. В личных свойствах Ермолова были черты — твердость характера, независимость суждения, заботливость о материальных нуждах офицеров-армейцев, которые не могли не привлекать к нему симпатии офицерских масс. Николай I подозревал Ермолова в сношениях с декабристами, в кругу которых Ермолов был столь популярен, что Рылеев и Кюхельбекер посвящали ему стихи. Эту популярность Ермолова поддержала и утвердила «немилостивая» отставка, данная ему Николаем I в 1827 г. Заменивший его на

---

[1] Сочинения М. Ю. Лермонтова, под ред. П. А. Висковатова, «По поводу Демона», том III, М. 1891, стр. 119.

Кавказе надменный и бездарный карьерист Паскевич был не любим в кавказских военных кругах. По всем вероятиям, Ермолова имел в виду Лермонтов, рисуя в «Споре» (1841) картину русского похода для завоевания Кавказа:

И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

Рассказывают еще, что по пути на роковой поединок Лермонтов передавал Глебову, что задумал два романа, «из которых один из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой в Тагеране, в которой погиб Грибоедов» [1].

«До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом».

Рисуемые здесь и далее Лермонтовым картины природы Кавказа были преодолением утрированно-романтических зарисовок Кавказа, ставших избитыми к концу 1830-х годов. Лермонтов ни в чем не повторяет описаний Марлинского и своих собственных в ранних поэмах; он сознательно их избегает, что тогда же отметил Шевырев: «Марлинский приучил нас к яркости и пестроте красок, какими любил он рисовать картины Кавказа... Ему хотелось насиловать образы и язык; он кидал краски со своей палитры гуртом, как ни попало, и думал: чем будет пестрее и цветнее, тем более сходства у списка с оригиналом... Потому с особенным удовольствием можем мы заметить в похвалу нового кавказского живописца, что он не увлекся пестротою и яркостью красок, а, верный вкусу изящного, покорил трезвую кисть свою картинам природы и списывал их без всякого преувеличения и приторной выисканности... Автор не слишком любит останавливаться на картинах природы, которые мелькают у него только эпизодически. Он предпочитает людей и торопится мимо ущелий кавказских к живому человеку, к его страстям, к его радостям и горю, к его быту образованному и кочевому» [2].

---

[1] Мартьянов П. К., Последние дни из жизни М. Ю. Лермонтова, «Исторический Вестник», т. IV, 1892, стр. 90.
[2] «Москвитянин», № 2, 1841, стр. 519–520.

«Были ль обвалы на Крестовой?»

Ледники, спускающиеся с вершины Казбека, который обходит с востока Военно-Грузинская дорога, и с других вершин: Крестовой, Гуд-горы и пр., служат причиною обвалов, заваливающих дорогу массами снега, льда и камней. Особенно грозный обвал на Военно-Грузинской дороге был в 1832 г., когда на протяжении двух верст было засыпано ущелье Терека, прервавшего свое теченье[1]. Обвалы на Крестовой принадлежали к числу опаснейших на дороге, так как дорога проходит здесь под отвесными скалами.

II

Рассказ Максима Максимыча про Бэлу составляет *второй раздел повести.* Он выдержан в чистой форме *изустного сказа,* прерываемого лишь немногословными вопросами и замечаниями автора записок. Элемент описания ни в одном месте не нарушает сказа. Рассказ происходит во время чаепития в сакле возле почтовой станции Койшаур: этим оправдана его продолжительность и непрерывность. Словоохотливость рассказчика подготовлена предыдущим указанием автора заметок на то, что «старые кавказцы любят поговорить, порассказать», так как долгое пребывание в захолустных крепостях дает им возможность только официальных сношений с «нижними чинами», с которыми не может быть вольной беседы.

Стилистически рассказ штабс-капитана близок к запискам встречного офицера: он отличен от них лишь речевыми интонациями.

> «Да пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке».

По самым условиям горной войны в отдаленном, бездорожном крае, военная служба на Кавказе лишена была одуряющего однообразия российской казарменной муштры и мелочной формалистики. Начальство на Кавказе не могло быть так требовательно по части формы, шагистики и чинопочитания, как в самой России. Даже сам Николай I принужден был считаться с неизбежностью этих служебных вольностей

---

[1] Ср. стихотворение Пушкина «Обвал».

на Кавказе. Когда он в 1837 г. производил в Геленджике смотр войскам (в их числе был и нижегородский драгунский полк, в котором служил Лермонтов), «ему, привыкшему к педантической точности на каждом шагу, бросались в глаза отступления от принятых форм и правил... «Хорошо, — говорил он, — что я не взял с собою брата Михаила Павловича: он бы этого не вынес». К царю «офицеры явились по-домашнему. Сам бригадный командир генерал Ливен был в сюртуке, из-под которого на целую четверть виднелся бешмет из пестрой турецкой материи. В таких же фантастических костюмах были и другие... Форменных полусабель не было ни одной — у всех черкесские шашки» [1].

Якши тхе, чек якши (с тюрк.)—хороша, очень хороша.

Карагач — Ulmus pumila, красный берест, вид ильмы, дерево.

Валлах! (с араб.) — Аллах, бог.

Йок (с тюрк.) — нет.

Джигит (с тюрк.) — наездник, равносильно: храбрец, удалец.

> «Мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда»...

Азамат, сын «старого князя», признавшего под присягой власть русских, стремится из предгорий Чечни в горы, в Дагестан, где в эту пору, под водительством имама Шамиля, происходило объединение горских племен для борьбы с русскими. В приобретении коня-друга Азамат видел единственный путь к осуществлению своей мечты об абречестве и потому не жалел ничего, чтобы залучить себе Карагеза, — не жалел и драгоценной шашки гурда, о которой мечтал каждый черкес и русский кавказец. «Рассказывают, что один из туземных мастеров, достигший чрезвычайным трудом и усилиями до выделки чудных клинков, встретил себе соперника в лице

---

[1] Потто В., История 44-го Драгунского Нижегородского полка, т. IV, СПБ 1894, стр. 82—83.

другого мастера... Произошла ссора, и первый, желая доказать преимущество своего железа, с криком «гурда» (смотри) одним ударом перерубил пополам и клинок, и самого соперника. Имя этого мастера «гурда» изгладилось из народной памяти, но его восклицание так и осталось за его клинками. Знатоки различают три рода гурды: это—ассель (старая гурда), гурда-мажар и гурда-эль-мурза, отличающиеся друг от друга различными клеймами»[1].

> «Послушай!— сказал твердым голосом Азамат: — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! Как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха»...

Азамат предлагает Казбичу мену вещи на вещь, коня на женщину, и выхваляет достоинства своей меновой вещи: ее красоту, способность к танцам, мастерство в рукоделии и т. д. Мужчина на мусульманском востоке считался собственником женщины. На ней лежал весь труд хозяйства. «Черкесский дворянин проводит жизнь на лошади, в набегах, в делах с неприятелем или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь день, лежа в кунацкой, открытой для каждого прохожего, чистит оружие, исправляет конскую сбрую, а чаще всего ничего не делает... Днем он видится очень редко со своим семейством и идет к жене только вечером. На ней лежит обязанность смотреть за хозяйством; она ткет с помощью женской прислуги сукно, холст и одевает детей и мужа с ног до головы»[2]. Искусство в пляске считалось на Кавказе высоким достоинством женщины. (Пляска Тамары—один из самых ярких эпизодов «Демона» Лермонтова.) «Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах; скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой; серебряный галун их работы неподражаем... Умение хорошо работать считается, после красоты, первым достоинством для девушки и лучшею приманкою для женихов»[3].

---

[1] Потто В., Кавказская война, т. IV, вып. IV, «Несколько слов о холодном оружии», изд. 2-е, СПБ 1889, стр. 683—684.

[2] Т(орнау), Воспоминания кавказского офицера, ч. 2-я, М. 1865, стр. 90.

[3] Т(орнау), Воспоминания кавказского офицера, ч. 2-я, М. 1865, стр. 90—91.



Казбич и Азамат.

(С рисунка М. А. Врубеля.)

> «Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса: «Много красавиц в аулах у нас...»

Окончательный отказ от предложения Азамата сменять коня на девушку Казбич выражает удалой абрецкой песней, мотив которой встречается в кавказских поэмах Лермонтова. В «Измаиле-бее» есть «Черкесская песня»:

Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля, —
Но еще милее воля!

Не женися, молодец,
Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
Ты купи коня.

Последние четыре стиха повторяются и под следующими двумя куплетами:



Терский казак.
(С рисунка Г. Г. Гагарина.)

Кто жениться захотел,
Тот худой избрал удел;
С русским в бой он
не поскачет:
Отчего? — жена заплачет!

Не изменит добрый конь
С ним и в воду и в огонь
Он как вихрь в степи
широкой
С ним — все близко,
что далеко.

«Клянусь ты будешь владеть конем; только за него должен отдать мне сестру Бэлу: Карагез будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал».

Казбич — магометанин и единоплеменник; Печорин — «*гяур*», т. е. неверный и враг; поэтому Азамат, сам вызывавшийся Казбичу променять сестру на коня, молчит в ответ на подобное же предложение Печорина.

Калым — выкуп, вносимый женихом за невесту ее родным (отцу, брату и т. д.).

«...Приехал Казбич... Я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки он был моим кунаком!»

Несмотря на заведомую, с точки зрения русских властей, неблагонадежность Казбича, начальник гарнизона крепостцы ведет с ним знакомство, предпочитая числить его в поставщиках продовольствия, чем в открытых абреках.

«Нет! *Урус яман, яман!*» (с т ю р к.) — русский злой, злой!

«Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему».

Похищение Печориным, русским офицером, Бэлы, дочери чеченского «князя», встревожило Максима Максимыча как начальника гарнизона крепости, потому что могло испортить отношения с «мирной» верхушкой окружающего горского населения, в «мирности» которой была особенно заинтересована русская власть в крае, строившая план завоевания именно на «ладах» с туземной аристократией, переходившей на русскую сторону. Насколько несерьезно было наказание похитителя Бэлы домашним арестом «для вида» видно из презрительного тона, с каким отнесся к нему Печорин, понимавший, однако, и его разумность с точки зрения русских интересов в Чечне («оставьте ее (Бэлу) у меня, а у себя мою шпагу»).



Черкешенка.

(С рисунка Г. Г. Гагарина.)

«Ведь вы добрый человек,—а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст».

Одним из обычных мнимых оправданий русской завоевательной политики на Кавказе было указание на борьбу с рабством и с продажей женщин и детей в гаремы Турции и Персии. Защитники завоевательской политики пишут: «Смешно и странно слышать определение, что посредством распространения в горах торговли всего вернее укротить неистовства горцев. Для такой благой цели г-м филантропам

не угодно ли будет завести торговую компанию? Любопытно было бы видеть ее успехи там, где осуждается на презрение всякий, занимающийся торговлею, тогда как, напротив, приобретения грабежом, убийством, воровством получают завидное соревнование и через них стяжается полное уважение и слава известности. У дикарей обычаи заменяют законы; один только торг не был предосудителен у черкесов: это продажа пленников и красивых детей обоего пола» [1]. «Дочь для чеченца — рабочая сила, а когда она вырастает — товар» [2].

«Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться».

Лермонтов наделяет Печорина той же чертой властности, подчиняющей людей, какою наделены многие герои его юношеских поэм и их литературные предшественники — герои Байрона, властные несчастливцы, люди «рока». Печорин, как Измаил-бей, принадлежал к числу тех, что

...пособий от рабов не просят,
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе [3].

И. Н. Розанов делает меткое сопоставление Печорина с царицей Тамарой («Тамара», 1841): «В лермонтовской Тамаре внешняя ее красота не играет никакой роли, хотя царица и была «прекрасна, как ангел небесный». К ней в замок шли случайно проходившие мимо, шли как загипнотизированные «на голос *невидимой* пери», потому что в голосе этом

были всесильные чары,
Была непонятная *власть* [4].

«— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно».

Чтобы видеть хоть издали родные горы, горец, юноша Мцыри бежит из монастыря и с восторгом вспоминает перед смертью:

---

[1] «Московский Телеграф», № 15, 1833, стр. 338.
[2] Семенов Н., Туземцы Северо-восточн. Кавказа, СПБ 1895, стр. 81.
[3] «Измаил-бей», ч. 2-я, строфа XVIII.
[4] Розанов И. Н., Отзвуки Лермонтова, сб. «Венок Лермонтову», М. 1914, стр. 287.

Вдали я видел сквозь туман
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.

Умирая, он просит перенести его в сад:

Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет.

(«Мцыри», 1840.)

«Послушай, моя пери, — говорил он».

Пери (по-персидски: крылатый) — по религиозным воззрениям древних персов одно из прекрасных и добрых существ, находящихся в непрестанной войне с духами зла — дивами (дэвами). Английский поэт Томас Мур (1779—1852) озаглавил «Рай и Пери» вторую часть своей поэмы «Лалла Рук», переведенную в 1821 г. Жуковским под названием «Пери и ангел». Лермонтов часто употребляет имя «Пери» для обозначения женской красоты: Зара в «Измаиле-бее» «нежна, как пери молодая, создание земли и рая»; «Как пери спящая мила, она (Тамара) в гробу своем лежала» («Демон»); «На голос невидимой пери шел воин, купец и пастух» («Тамара») и др. Как и у Лермонтова, на устах у Печорина имя «Пери» явилось из двух источников: из кавказских преданий и из английских поэтов.

«На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками».

Кизляр — уездный город бывшей Ставропольской губернии, расположенный на левом берегу Терека, экономический и торговый центр края, куда товары свозились из России, из Закавказья и Персии.

«Уздени его отстали».

Уздени существовали у черкесов. В их сложном феодальном строе первое место занимали *пши* — князья; за ними следовали дворяне — *вуорки,* или *уздени,* — трех степеней: а) *тлехотль* — подчинявшиеся князьям, но считавшиеся владетельными наравне с ними, б) *беслен-вуорк,* причисленные к

княжеским или дворянским аулам и в) *вуорк-шаотляхуса.* На третьем месте в строе черкесского общества были *уздени-пшехао,* «которых можно назвать княжьими отроками или конвойными князя». «*Узденями-пшехао*» Лермонтов и окружает «старого князя», возвращающегося с вооруженных поисков дочери. Но, если не разуметь под «узденями»,— что́ было бы неправильно, — простых слуг, Лермонтов делает здесь ошибку, перенося на чеченцев феодальный строй черкесов: «Все чеченцы... составляют общий класс узденей, без всякого подразделения на сословия. — Мы все уздени, говорят чеченцы, понимая под этим словом людей, зависящих только от себя (слово уздень на чеченском языке произносится ёзюдан и происходит от слов: *езю* — от и *дан* — себя)» [1].

> «Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, — сказал я, чтобы вызвать мнение моего собеседника. — Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав».

Старый кавказец Максим Максимыч отлично осведомлен о законе кровавой мести, безраздельно господствовавшем среди горцев; Казбич, умертвив старого князя, выполнил веление этого закона. У северокавказских горцев «едва младенец начинает понимать, как мать, отец, аталык (воспитатель. — *С. Д.)* и все родные твердят ему одно и то же, что он должен ненавидеть своего врага и мстить кровью за кровь, обиды и оскорбления» [2]. Лермонтов написал ряд поэм на тему о кровавой мести: «Каллы» (1831), «Хаджи-абрек» (1833—1834), «Беглец» (1839). Герои двух первых поэм — верные последователи и исполнители народного закона; от «беглеца» же, уклонившегося от долга кровавой мести, отрекаются мать, друг, любимая девушка; отверженный всеми, он кончает самоубийством.

III

Небольшая третья часть «Бэлы» («Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу» и т. д.) возвращает читателя к перевалу, совершаемому Максимом

---

[1] Дубровин Н., История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 1-я, СПБ 1871, стр. 193, 451, 452.

[2] Леонтович Ф. И., Адаты кавказских горцев, вып. II, Одесса 1883, стр. 258.

Максимычем и автором записок. Для повести о Бэле и Печорине наступает необходимый роздых, оправданный тем, что история водворения Бэлы у Печорина закончена, а эпизод их «счастья», бедный событиями и богатый лирикой, исчерпан в передаче холостого штабс-капитана, чуждого словесности, простой фразой: «да, они были счастливы». С другой стороны, окончено и дорожное чаепитие, во время которого рассказывал Максим Максимыч. Две сплетенные фабулы — переезд через горы двух офицеров и история Бэлы — реалистически правдиво увязаны Лермонтовым в крепкий узел повествования.

Третий раздел «Бэлы» изобилует описаниями природы. Лермонтов остался непревзойденным певцом природы Кавказа. Декабрист А. Е. Розен, служивший на Кавказе, находил, что «верное изображение» Кавказа «не удалось ни вольному путешественнику поэту Пушкину, ни Грибоедову, ни невольным странникам — Бестужеву и Одоевскому. Всего лучше отрывками нарисовал Кавказ поэтом Лермонтовым, который волею и неволею несколько раз скитался по различным направлениям чудной страны и чудной природы» [1]. В ранних поэмах Лермонтова, писанных в духе романтизма, описания природы представляются наиболее реалистическими местами. «В «Герое нашего времени» Лермонтов в описаниях природы умеет сочетать глубокий и искренний лиризм с меткой наблюдательностью и географической точностью реалиста.

> «Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору».

«*Гуд-гора* в главном Кавказском хребте, по Военно-Грузинской дороге, между станциями Коби и Койшауром, в 12,5 клм. от Коби и в 7,5 от Койшауры, на левом берегу Арагвы, выходящей из Гудовского ущелья. Гуд-гора с северной стороны отделяется небольшою долиною, известною под именем *Чертовой,* от горы *Крестовой...* Абсолютная высота Гуда 2447,41 метр. Дорога пролегает по западной окраине горы, почти над самою пропастью, в которой стремится Арагва. Часть Военно-Грузинской дороги, пролегающей по Гуд-горе, есть самая опасная в зимнее время от нависших масс снега, иногда в несколько сажен толщиною. Эти массы нередко

[1] Розен А. Е., Записки декабриста, СПБ 1907, стр. 225.

падают через дорогу обвалами в пропасть, унося с собою все, что попадается на пути»[1].

«Воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять».

Эти признания автора путевых записок — признания самого Лермонтова. Великолепно знакомый с описываемой горной страной, он переживал здесь те же чувства и отдавался таким же размышлениям. Осенью 1837 г. он писал С. А. Раевскому: «Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь». Исключительное «чувство гор» Лермонтов вынес еще из первой, детской поездки на Кавказ и переживал его всю жизнь, отразив с яркостью и силой в лирике и поэмах. Многие обращения Лермонтова к горам носят характер таких же личных признаний, как то, что выражено в письме к Раевскому. «Синие горы Кавказа! Приветствую вас!» — пишет он шестнадцатилетним юношей. — «Вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе».

Устранив посвящение «Демона» любимой женщине, Лермонтов перепосвящает поэму, плод всей его жизни, Кавказу, соединяя с горным миром весь мир своей мысли и жизни:

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной...

---

[1] Географическо-статистический словарь Российской империи, сост. П. Семенов, т. I, СПБ 1863, стр. 707—708.

Любовью к горам Лермонтов наделяет и двух героев наиболее зрелых своих произведений, Мцыри и Печорина.

Особенно существенно признание: «Приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми» и т. д. Академик М. Н. Розанов, утверждая, что «подобно Руссо, Лермонтов глубоко верит в облагораживающую и целительную силу природы при сближении с нею», говорит по поводу приведенного места из «Бэлы»: «Нельзя выразить яснее солидарность со взглядом Руссо о благости природы, выраженном хотя бы в общеизвестном афоризме: «Tout est bien, sortant des mains de l'auteur des choses; tout dégénère entre les mains de l'homme» («Все прекрасно, выходя из рук творца вещей; все портится в руках человека») [1].

С признанием: «она (душа) делается вновь такою, какой была некогда, и верно будет когда-нибудь опять», — следует сопоставить знаменитое стихотворение «Ангел» (1831). «Руссоизм» Лермонтова — одних социальных корней с страстным «руссоизмом» Льва Толстого: пресыщение и презрение к праздной пустоте и к утомительной искусственности светской жизни приводит их, отщепенцев своего класса, к философско-социальной тяге к природе, среди которой им представляется возможным исцеление от недугов культуры; под этими «недугами» они разумеют—в действительности культурно-социальное загнивание собственного класса, ставшего историческою ненужностью [2].

«Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой».

«*Крестовая гора* в Главном Кавказском хребте, по Военно-Грузинской дороге (место это теперь обойдено обходом), между Койшауром и Коби; отделяется от Гуд-горы Чертовою долиною. Абсолютная высота ее 2590,06 метров, перевал же на 2425,18 метров. На вершине горы водружен крест, давший имя самой горе» [3].

---

[1] Розанов М. Н., Байронические мотивы в творчестве Лермонтова, в сб. «Венок Лермонтову», М. 1914, стр. 362—363.

[2] См. книгу Л. Семенова «Лермонтов и Лев Толстой», М. 1914 г.

[3] Географическо-статистический словарь Российской империи, сост. П. Семенов, т. II, СПБ 1865, стр. 785.

«Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, — а наш беспечный русак даже не слез с облучка».

Все подробности переезда переданы Лермонтовым с фактической точностью. Указано то же число лошадей под повозку — 5, что в «Поездке в Грузию», где указана и плата — 60 коп., взимавшаяся за каждого провожатого [1].

Уносные — первая пара лошадей при запряжке четверкою (от «уносы» — постромки при запряжке).

«Переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак мы спускались с Гуд-горы в Чортову Долину».

Гамба (Jaques François Gamba, 1763—1833), коммерсант по происхождению, приобрел известность своими путешествиями на Восток, имевшими целью изучение путей и рынков для французской промышленности. Пользуясь покровительством русских властей, он совершил в 1817 г. путешествие по южной России, посетив порты Черного моря и западный берег Каспия. Во время второго путешествия, в 1819 г., он посетил Кавказ — Дагестан, Грузию, Ширван, и побывал в Москве и Петербурге. Благодаря его настояниям было учреждено французское консульство в Тифлисе, и он был назначен консулом, в звании которого и умер. В 1824 г. он выпустил в Париже: «Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase», 2 тома с атласом и картами. Ошибку Гамбы, переименовавшего «*Крестовую гору*» в «*гору св. Христофора*», раньше Лермонтова отметил проезжий сотрудник «Московского Телеграфа». Его рассказ о перевале интересно сравнить с поэтическим описанием Лермонтова: «Глубокий снег. Яркое ослепительное солнце восходило перед нами и, рассыпая лучи свои по белым вершинам гор, поражало зрение, хотя товарищи мои натерли себе порохом большие круги около глаз. Меня предохранили очки мои и зеленый зонтик. Холод был нестерпимый. Солдаты, ехавшие форейторами на припряженных впереди

---

[1] «Московский Телеграф», № 15, 1833, стр. 363.

лошадях, беспрестанно переменялись. Термометр мой показывал 7° холода; но ветер дул жестокими порывами и вихрем вздымал метель так, что мы принуждены бывали останавливаться, не видя ничего перед собою. Через минуту — все пропадало, и солнце ярко блестело на ново-упавшем снеге» [1].

Лермонтов заставляет своего «офицера, автора записок» прозаически толковать читателю название «Чортова долина» и подсмеиваться над читательской склонностью к романтическим названиям: «Вы уж видите гнездо злого духа между неприступными утесами — не тут-то было: название Чортовой долины происходит от слова «черта», а не «чорт». Однако сам Лермонтов, ознакомившись впервые с этими местами в 1837 г., до того проникся романтизмом их пейзажа и преданий, что перенес в эти места действие своего «Демона» (очерк 1837 г.), ранее «пролетавшего» не над «Казбеком», а над Испанией. Биограф поэта, проехавший по старой Военно-Грузинской дороге, пишет: «Окрестности полны сказаний о горном и злом духе, полюбившем девушку грузинку. Так, вблизи находится «Чортова долина» и в ней груда камней. Слышанные мною предания об этих камнях сходятся в том, что горный дух полюбил молодую девушку, в свою очередь любившую молодого человека. В минуту ревности дух завалил хижину молодых людей грудой страшных камней. На правом берегу Арагвы находятся развалины монастыря, о коем окрестные жители рассказывают, что дух, рассердившись на инокинь, разрушил монастырь громовой стрелой. Близ перевала над Койшаурской долиной осетины показывают пещеру, где прикован горный дух. Об этом-то вспоминает Лермонтов, когда говорит, что плачущей Тамары

...тяжелое дыханье
Тревожит путника вниманье,
И мыслит он: то горный дух,
Прикованный в пещере, стонет [2].

Таким образом, своеобразным преодолением романтизма — или страхом пред романтическим шаблоном — является это решительное отрицание в «Бэле» романтических горных преданий, только что перенесенных в любимое создание поэта.

---

[1] «Московский Телеграф», № 15, 1833, стр. 362—363.

[2] Висковатов П. А., Несколько слов по поводу поэмы «Демон». Сочинения М. Ю. Лермонтова, под ред. П. Висковатова, т. III, М. 1891, стр. 119—120.

«Всеобщее предание» о кресте Петра I приведено путешественником в «Московском Телеграфе». Текст лермонтовского возражения дает повод думать, что ему было известно это сообщение «Московского Телеграфа»: «На самой высокой точке переправы через Кавказское ущелье — на вершине Крестовой горы — императором Петром Великим поставлен крест в ознаменование перехода им сими местами с войском своим. Отсюда начало названия горы Крестовой» [1].

Возражение Лермонтова исторически точно: Петр I не был на Дарьяле: в 1722 г. он посетил лишь западный берег Каспия с прилегающими частями Дагестана.

«Нам должно было спускаться еще верст пять... чтобы достигнуть станции Коби».

Коби — деревня и почтовая станция у подъема на Крестовую гору, в 18 километрах от Казбека. Упоминаемая ниже Байдара, — горная речка, протекающая по урочищу между станциями Койшаур и Коби, в 6 километрах к югу от ст. Коби.

«И ты, изгнанница», думал я, «плачешь о своих широких, раздольных степях!..»

Обращение автора записок к метели — как к тоскующей и рвущейся на волю «изгнаннице»» — принявшее форму стихотворения в прозе, — дает право думать, что этот офицер, подобно Печорину и самому Лермонтову, был подневольным кавказцем, «изгнанником с милого севера в сторону южную». Лермонтов дает здесь чисто звуковой образ метели: она гудит, поет, плачет, кричит, бьется. Подобные же звуковые описания метели (ее звон, пенье, оклик, голос) находим в «Русской песне», «Демоне», «Песне о купце Калашникове».

IV

В четвертом разделе повести заканчивается история Бэлы. Штабс-капитан досказывает ее на последнем привале перед станцией Коби, в сакле осетин. («Все к лучшему», — сказал я, присев у огня, и т. д.)

---

[1] «Московский Телеграф», № 15, 1833, стр. 363.

«Это лошадь отца моего, — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. Ага! подумал я: и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь».

При виде Казбича, убийцы ее отца, в Бэле просыпается, привитая обычаем и воспитанием, жажда кровавой мести. У кавказских горцев «наиболее тяжкими по своей наказуемости действиями считаются прежде всего действия против интересов родовых (измена роду и сношение с неверными); затем личные и имущественные правонарушения (убийство и поранение в особенности глав рода и семьи, изнасилование и бесчестие женщин, разбои и явный грабеж), — правонарушения эти влекут за собою кровомщение рода или семьи... За одного убитого мстил род роду, аул аулу. Раз совершенное преступление вело за собою ряд кровомщений, тянувшихся в нескольких поколениях даже несколько веков» [1]

«А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, — я княжеская дочь».

Как было указано, феодальное начало у чеченцев было, ко времени русского завоевания, проявлено очень слабо, и Лермонтов, наделяя Бэлу чертой феодальной гордости, несколько отступает от этнографической правды (как и в описании свадьбы) ради чисто художественной задачи: дать, типичный для кавказских горцев, образ горянки-княжны. В этом смысле Бэла является прозаическою параллелью к образу другой феодальной княжны — Тамары, созданному Лермонтовым немного ранее [2].

Знакомый с обычаями, нравами и психологией горцев Максим Максимыч понимает, какое чувство дочернего долга просыпается в Бэле при виде Казбича, повинного в убийстве и ограблении ее отца. В дальнейших словах, обращенных к Печорину: «Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частично помогали Азамату» — штабс-капитан предупреждает Печорина, что он также подпал теперь под закон кровавой мести со стороны Казбича, так как способствовал похищению Азаматом Карагеза.

---

[1] Леонтович, Адаты кавказских горцев, вып. 1, Одесса 1883, стр. 165 и 395.

[2] Четвертый очерк «Демона», 1837.

«Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он: — у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, бог ли меня так создал, не знаю; знаю только, что если я причиною несчастия других, то и сам я не менее несчастлив».

Этими словами начинается характеристика Печорина, подробная разработка которой дана в признаниях его дневника, составляющего центральную часть романа — «Княжну Мери». Самохарактеристика эта, представляя по изложению и остроте анализа как бы страницу из этого дневника, нарушает выдержанную цельность простого «сказа» Максима Максимыча: вряд ли Печорин решился бы поделиться со старым армейцем аналитической автобиографией, а если бы и поделился, вряд ли бы Максим Максимыч был способен передать ее своему слушателю столь точно в тонких печоринских выражениях. Но сама по себе исповедь Печорина чрезвычайно важна для понимания его личности: это схема всего ее развития, совпадающая с тем, что говорится о докавказской поре жизни Печорина в «Княгине Лиговской».

В знаменитой статье «Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбов дает сжатую характеристику Печорина как одного из «обломовцев», основываясь, главным образом, на той автобиографии Печорина, которую он набрасывает Максиму Максимычу: «Перед вами другой человек, с более страстной душой, с более широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы все то, что для Онегина составляет предмет забот. Он не хлопочет о туалете и наряде: он светский человек и без этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать знанием, и без этого язык у него, как бритва. Он действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости: он действительно умеет овладеть сердцем женщины, не на краткое мгновенье, а надолго, нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги; любовь светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди — невежды, а слава — удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не видел в них смысла и скоро привык к ним. Наконец, даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему

самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своих порывов. Но что же это за порывы? Куда влекут они? Отчего он не отдается им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности... Вы припоминаете, что это история Печорина, что отчасти почти такими словами сам он объясняет свой характер Максиму Максимычу. Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тут увидите того же Обломова. .» «Обломов» был в глазах Добролюбова, обобщающим образом «лишнего человека», культурного представителя того класса, который стал не только лишним, но и глубоко реакционным к эпохе 1850-х годов, класса дворянства, против которого были направлены в 1850-х годах главные удары Добролюбова и Чернышевского, этих вождей революционной демократии.

> «У меня был кусок термаламы. Я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами».

Термалама (с т ю р к.) — плотная шелковая или полушелковая ткань, идущая на востоке на халаты. *Галун* — узкая серебряная тесьма, которой обшивалась черкесская одежда.

> «Сознайтесь однакож, что Максим Максимыч человек достойный уважения?»

Это обращение к читателю, переносящее читательское внимание на личность Максима Максимыча, которому предстоит занять видное место в следующей повести, напоминает аттестацию из очерка «Кавказец»: «Настоящий кавказец — человек удивительный и *достойный* всякого уважения и участия».

> — «А, чай, все французы ввели моду скучать?»
> — «Нет, англичане».

Отвечая так Максиму Максимычу, офицер-путешественник имеет в виду сплин (spleen — в буквальном значении: селезенка), подавленное психическое состояние, нервное рас-

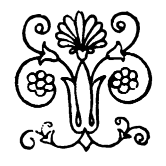
стройство, сопровождающееся тоской и потерей вкуса к жизни. Это болезнь Онегина:

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская *хандра*.

Состояние одержимого сплином человека хорошо рисует В. Ф. Одоевский в повести «Записки гробовщика» (1838): «Однажды в моей молодости на меня напал припадок сплина, который был в большой моде в то время. В этом печальном расположении духа я вышел однажды на улицу и печально вымеривал тротуар; — накрапывал дождь — сырость проникала мое платье; нервы страдали; сквозь капли дождя все обстоятельства жизни представлялись мне мрачнее и мрачнее, все утешительные мысли, все надежды вышли у меня из памяти; на сердце и в голове осталися лишь тоска, досада, душевная усталость; кто не испытывал этого томительного состояния духа? Кому не случалось испытать это нетерпение распроститься с жизнью, которое в нравственном мире то же, что в физическом простое желание после трудового дня броситься в постелю...» [1].

---

[1] Альманах на 1838 год, СПБ 1838, стр. 221—222.





МАКСИМ МАКСИМЫЧ

«Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелия, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспешил в Владикавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет».

В КАВКАЗСКИХ поэмах Лермонтова 1828—1837 гг. «описания гор», соответственно их сюжетам, занимают видное место; в «Бэле» «описание гор», тесно вплетенное в повествование, мотивировано самой его сущностью (встреча офицера с Максимом Максимычем во время перевала). В «Максиме Максимыче», где «описания гор» должны были бы остаться чистыми пейзажами или географическими очерками, Лермонтов отказывается от них. К концу 1830-х годов подобные «описания» Военно-Грузинской дороги, Терека и Дарьяльского ущелья в стихах и прозе сделались трафаретом. Романтическое описание Терека находим даже в далеко не романтической «Поездке в Грузию». «Поэты! Живописцы! Спешите сюда!.. Здесь ожидает вас вдохновение! Здесь низойдет на вас могущество творческой силы» [1].

---

[1] «Московский Телеграф», № 15, 1833, стр. 359.

Эти «места с ожидающим вдохновением» офицер, покинувший Максима Максимыча утром в $84\frac{1}{2}$ верстах от Владикавказа, на ст. Коби, намеренно «проскакал» с тем, чтобы, задержавшись на промежуточных станциях (с укреплениями) Казбек (в 42 в.) и Ларс (в $25\frac{1}{2}$) только для еды и перемены лошадей, к вечеру прибыть во Владикавказ, в поселок и крепость, основанную в 1784 г. на месте осетинского аула Капкай для охраны Военно-Грузинской дороги. Дальнейший путь офицера лежал в Екатериноградскую станицу, на р. Малке,— важный военно-экономический центр Предкавказья. Дорога шла через земли кабардинцев и, ввиду частых нападений, проезжающие получали военное прикрытие: «впереди авангард казаков, потом авангард пехотный и, наконец, пушка, а за нею почта и проезжающие» [1]. «Нельзя никому ни отстать, ни выдвинуться в сторону, и предосторожности строго соблюдаются. Чуть сломалось что-нибудь у кого бы то ни было, весь караван останавливается и не прежде двигается, как когда все приведено в порядок» [2].

Еще в 1843 г. на пути от Владикавказа до Прохладной был взят горцами в плен курьер из Тифлиса в Петербург— Глебов [3].

«...Пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея... Он явно был балованный слуга ленивого барина — нечто вроде русского фигаро»...

Описанием изумившей Максима Максимыча коляски Печорина и его лакея, выслушавшего с «презрительной миной» обещание восьмигривенного на чай, Лермонтов подчеркивает если не богатство, то полную материальную независимость Печорина.

Фигаро — тип умного, бойкого, избалованного слуги из комедий П. Бомарше (1732—1792) «Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784).

---

[1] «Московский Телеграф», № 15, 1833, стр. 342.

[2] Лорер Н. И., Из записок «Русский Архив», 1874, кн. 2-я, стр. 653.

[3] Воспоминания Полторацкого, «Исторический Вестник», № 1, 1893, стр. 50—51.

Изъ записокъ офицера ... о отн. встр…

II

Расставшись съ Макс. Максимовичемъ, я живо проскакалъ Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракалъ въ Казбекѣ, чай пилъ въ Ларсѣ, а къ ужину поспѣлъ въ Владикавказъ: избавляю васъ отъ описанія горъ, отъ возгласовъ которые ничего не выражаютъ, отъ картинъ которые ничего не изображаютъ особенно для тѣхъ которые тамъ не были, и отъ статистическихъ замѣчаній которыя рѣшительно никто читать не станетъ.

Я остановился въ гостинницѣ гдѣ останавливаются всѣ проѣзжіе, и гдѣ между тѣмъ некому велѣть зажарить фазана и сварить щей: ибо три инвалида которымъ она поручена такъ глупы или такъ пьяны что отъ нихъ никакого толку нельзя добиться. Вообще замѣчу, сразу, что въ Россіи всегда можно лучше поѣсть на станціяхъ въ захолустьи чѣмъ въ городахъ, особенно съ тѣхъ поръ какъ уѣздные и губернскіе повара выучились дѣлать майонезъ изъ свеклы.

Мнѣ объявили что я долженъ прожить тутъ еще три дни, ибо оказія изъ Екатеринограда еще не пришла и слѣдовательно отправиться обратно не можетъ. Что за оказія!... но дурной каламбуръ не утѣшеніе для русскаго человѣка, и я для развлеченія вздумалъ записывать разсказъ Максима Максимовича о Бэлѣ, не воображая что онъ будетъ первымъ звѣномъ длинной цѣпи повѣстей; видите какъ иногда маловажный случай имѣетъ жестокія послѣдствія! а вы можетъ быть не знаете что такое оказія? — это прикрытіе состоящее изъ полроты пѣхоты и пушки съ которымъ ходятъ обозы черезъ Кабарду изъ Владыкавказа въ Екатериноградъ. —

Первый день я провелъ очень скучно, на другой рано утромъ въѣзжаетъ на дворъ повозка!... а, Максимъ Максимычъ. Мы встрѣтились какъ старые пріятели. — Я предложилъ ему свою комнату. Онъ не церемонился, даже треснулъ меня по плечу и скривилъ ротъ на манеръ улыбки. Этакой чудакъ!...

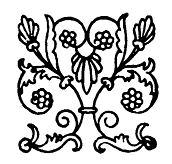
Первая страница автографа «Максима Максимыча».

«Я понял его: бедный старик в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным».

В подорожных и других официальных бумагах лермонтовской поры проезжающие указывали, едут ли они по «казенной надобности» или по «собственной».

«Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч!»

Максим Максимыч причисляет офицера-путешественника к тому же столично-дворянскому кругу, к которому принадлежит Печорин. У них, действительно, общий социальный паспорт и много общих психологических черт: «охота к перемене мест», тяга к природе, любовь к Байрону и пр. Поскольку личность офицера-повествователя проступает сквозь его рассказы, он также принадлежит к числу «лишних людей», у него чувства и язык общие с Печориным, и многие страницы его записок мог бы написать Печорин, как, в свою очередь, офицеру-путешественнику могли бы принадлежать страницы «Тамани» или «Фаталиста».





«Я поместил в этой книге только то, что относится к пребыванию Печорина на Кавказе».

ИЗДАТЕЛЬ умалчивает здесь, какие редакторские приемы употреблял он при издании записок Печорина. Первоначально этому изъяснению был посвящен *конец* повести «Максим Максимыч», где излагается история получения издателем записок Печорина от штабс-капитана (несколько похожая на такую же историю в «Адольфе» Б. Констана): «Я пересмотрел записки Печорина и заметил по некоторым местам, что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло (подарок) доверенность штабс-капитана. В самом деле, Печорин в некоторых местах обращается к читателям; вы это сами увидите, если то, что вы об нем знаете, не отбило у вас охоту узнать его короче. На тетрадках не было выставлено чисел; некоторые, вероятно, потеряны, потому что между ними нет большой связи. А я несмотря на дурной пример, поданный нам некоторыми журналистами [1], никак не решился поправлять или доканчивать чужое (сочинение) произведение: я только переменил одно: поставил (Записки) «Печорин», вместо его настоящей фами-

[1] Лермонтов имеет в виду редактора «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского, произвольно распоряжавшегося рукописями сотрудников, переделывавшего и подсочинявшего в них целые куски.

лии (которая, хотя, вероятно, известна), за что, конечно, он сам на меня сердиться не будет». Это изъяснение Лермонтов выкинул в беловой редакции потому, что оно делало из записок Печорина произведение, предназначавшееся автором к печати: Лермонтов желал сохранить за его записками всю искренность признаний, обращенных только к самому себе.

> «В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света...»

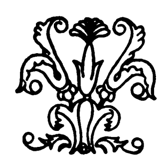
По поводу этого обещания Белинский писал: «Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаемся, чтобы он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печориным. В этом убеждении утверждает нас признание Гете, который говорит в своих записках, что, написав «Вертера», бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь...»

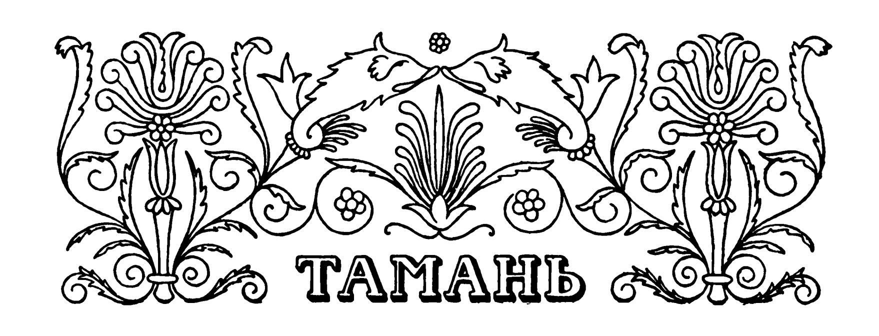
Правоту Белинского признал сам Лермонтов:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

(1841.)

Продолжения Печорина не последовало: в бумагах Лермонтова нет следа какой-нибудь попытки к такому продолжению.





ТАМАНЬ

«Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России».

В 1830-х годах Тамань была «одна из самых небогатых и немноголюдных казачьих станиц Черноморского войска», на берегу Таманского залива, на месте древнегреческой колонии Фанагории и древней Тмутаракани, столицы русского удельного княжества (X—XI вв.) Из Тамани шел почтовый тракт (210 верст) на Екатеринодар (ныне Краснодар), откуда на Ставрополь (ныне Ворошиловск), тогдашний центр Северного Кавказа [1]. Тамань входила в черту военной черноморской береговой линии: близ Тамани находилась небольшая крепость Фанагория с военным госпиталем и с провиантским магазином. Урядник (унтер-офицер) и десятник — чины «линейских казаков». Печорин, сосланный из Петербурга на Кавказ, направлялся в Геленджик, береговое укрепление на Черноморской линии, на которое опирались военные экспедиции, действовавшие на правом фланге против черкесов, живших на приморском склоне главного хребта.

«Полный месяц светил на камышевую крышу и белые стены моего нового жилища»...

Ср. лермонтовское описание гнезда контрабандистов с тем, какое дает в своих воспоминаниях М. Цейдлер: «Мне отвели

---

[1] «Кавказский календарь на 1850 год», Тифлис 1849, стр. 78—79.

с трудом квартиру или, лучше сказать, мазанку на высоком утесистом берегу, выходящем к морю мысом. Мазанка эта состояла из двух половин, в одной из коих я и поместился. Далее, отдельно, стояли плетневый, смазанный глиной сарайчик и какие-то клетушки. Все эти невзрачные постройки обнесены были невысокой каменной оградой... Домик... был чисто выбелен снаружи, соломенная крыша выдавалась кругом навесом, низенькие окна выходили с одной стороны на небольшой дворик, а с другой — прямо к морю. Под окнами сделана была сбитая из глины завалина... Внутри все было чисто, смазанный глиняный пол посыпан полынью. Вообще как снаружи, так и внутри было приветливо, опрятно и прохладно. Я велел подать самовар и расположился на завалинке. Керченский берег чуть отделялся розоватой полоской и, постепенно бледнея, скрывался в лиловой дали. Белые точки косых парусов рыбачьих лодок двигались по всему взморью, а вдали пароходы оставляли далеко за собой черную струю дыма» [1].

«Наконец из сеней выполз мальчик лет 14-ти».

Слепой мальчик, девушка-контрабандистка и ее возлюбленный Янко в повести Лермонтова живо напоминают свои прототипы, описываемые Цейдлером, но в то же время ни один из них не является фотографическим снимком, а свободным и сложным претворением действительности в художественный образ: «Я почти весь день проводил в Тамани на излюбленной завалинке... Однажды, возвращаясь домой, я издали заметил какие-то сидящие под окнами фигуры: одна из них была женщина с ребенком на руках, другая фигура стояла перед ней и что-то с жаром рассказывала. Подойдя ближе, я поражен был красотой моей неожиданной гостьи. Это была молодая татарка лет 19-ти с грудным татарчонком на руках. Черты лица ее нисколько не походили на скуластый тип татар, но скорее принадлежали к типу чистокровному европейскому. Правильный античный профиль, большие голубые с черными ресницами глаза, роскошные, длинные косы спадали по плечам из-под бархатной шапочки; шелковый бешмет, стянутый поясом, обрисовывал ее стройный стан, а маленькие ножки в желтых мештах выглядывали из-под широких складок шальвар. Вообще вся она была изящна; прекрасное лицо ее выражало затаенную грусть. Собеседник ее был

---

1 «Русский Вестник», № 9, 1888, стр. 135—136.

мальчик в сермяге, босой, без шапки. Он, казалось, был слеп, судя по бельмам на глазах. Все лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость. Несмотря на бельма, ходил он бойко по утесистому берегу. Из расспросов я узнал, что красавица эта — жена старого крымского татарина, золотых дел мастера, который торгует оружием, и что она живет по соседству в маленьком сарае, на одном со мной дворе; самого же его здесь нет, но что он часто приезжает. Покуда я расспрашивал слепого мальчика, соседка тихо запела свою заунывную песню, под звуки которой в бурную ночь, по приезде моем, заснул я так сладко. Слепой мальчик сделался моим переводчиком. Всякий раз, когда она приходила посидеть под окном, он, видимо, следил за ней. Муж красавицы, с которым я познакомился впоследствии, купив у него прекрасную шашку и кинжал, имел злое и лукавое лицо, говорил по-русски неохотно, на вопросы отвечал уклончиво; он скорее походил на контрабандиста, чем на серебряных дел мастера. По всей вероятности, доставка пороха, свинца и оружия береговым черкесам была его промыслом».

Упомянув о «сходстве описания с поэтическим рассказом М. Ю. Лермонтова», Цейдлер поясняет: «Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он, тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» [1].

«В тот день немые возопиют и слепые прозрят, подумал я, следуя за ним...»

Печорин, иронизируя над чудесностью такой зрячей «слепоты», вспоминает рассказ из евангелия о том, как Иоанн Предтеча прислал ко Христу своих учеников с вопросом, он ли пришедший Мессия? Христос отвечал: «Идите и возвестите Иоанну, что слышали и видели. Слепые прозирают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат» (Матф., II, 1—5).

---

[1] «Русский Вестник», № 9, 1888, стр. 138—139.

«И вот вижу, бежит опять вприпрыжку, моя ундина...»

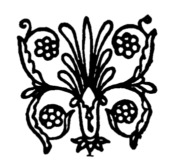
Ундина — русалка: любимый романтический образ Лермонтова («Русалка» — 1836, «Мцыри» — 1840, «Морская царевна» — 1841). Поэма В. А. Жуковского «Ундина» (стихотворное переложение повести Ла Мотт Фуке) вышла в 1837 г.

«Я вообразил, что нашел гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения».

Второе уподобление контрабандистки литературной романтической героине — загадочной, веселой и грустной, девушке-подростку из романа В. Гете (1749—1832) «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Песня Миньоны («Kennst du das Land») во времена Лермонтова существовала уже в нескольких русских переводах.

«Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»

Ср. подобные же сетования Печорина в «Княжне Мери» — в записи от 13 июня («я был необходимое лицо пятого акта») и в записи о дуэли («и с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы»). Ср. также замечание Максима Максимыча о Печорине: «Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!» («Бэла»).





«Вчера я приехал в Пятигорск»...

«Пятигорск расположен при минеральных серных и кисло-соленых горячих источниках на небольшой равнине, покатой к реке Подкумку, с северо-востока защищенной громадною массою горы Машука, к которой примыкают здания минеральных ванн. С северо-запада горизонт ограничивается остроконечными вершинами *пяти-гория,* отчего и самый город получил название Пятигорска. Основание русского поселения при водах относится к 1780 г., но распространение населенности собственно при самых источниках началось не ранее 1820 г. В 1830 г. поселение это возведено на степень уездного города, и стало носить название *Пятигорска*» [1].

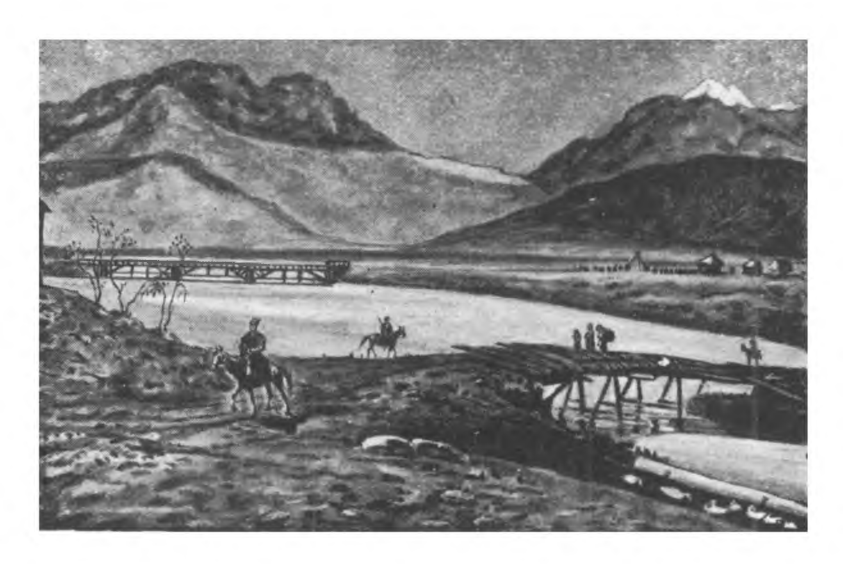
Пятигорск в 1838 г. имел такой вид:

«Город построен на левом берегу Подкумка, на покатости Машука, имеет одну главную улицу с бульваром, который ведет в гору, на коей рассажена виноградная аллея близ Елизаветинского источника, где устроена крытая галерея. В различных местах горы, в недальнем расстоянии, бьют серные ключи различной температуры, от 21° до 37° теплоты... При тихой погоде летом, при тумане зимою, по всему городу распространяется сильный серный запах» [2].

---

[1] «Кавказский календарь на 1850 г.», отд. III, Тифлис 1849, стр. 73.

[2] Розен А. Е., Записки декабриста, СПБ 1907, стр. 247.



Пятигорск.

(С рисунка Г. Г. Гагарина.)

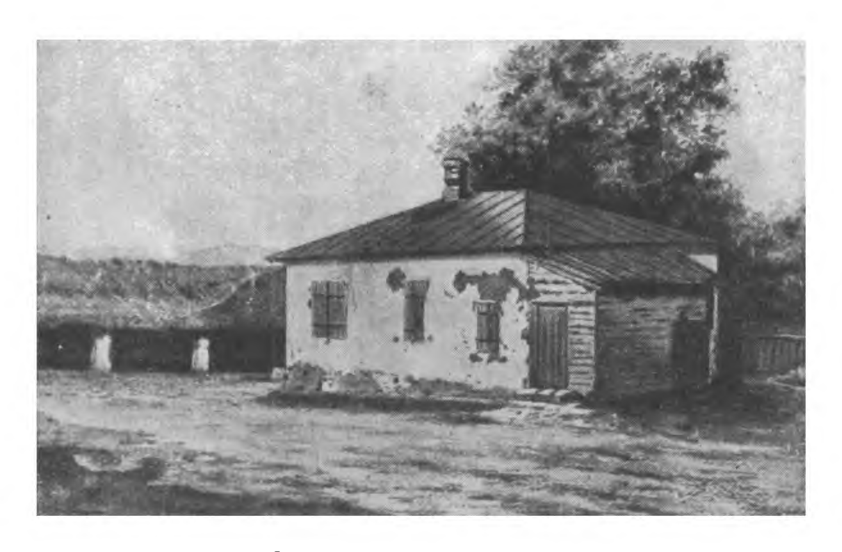
Пейзаж, которым открывается «Княжна Мери», следует также сравнить с описанием Горячеводска в анонимных «Письмах с Кавказа», напечатанных в 1830 году:

«Домик, в котором живем мы, стоит на высоте, господствующей над всем местечком. Сзади, над самою головою нашею возвышается Машука, покрытая лесом и кустарником; внизу перед нами, как в панораме, поставлен Горячеводск, так что все крыши домов пересчитать можно. Прямо через них взор упирается в скалу, на которой построены Александровские и Ермолаевские ванны. Немного правее видна мутная Подкумка; за нею необозримая степь, на коей местами возвышаются горы, похожие видом на курганы или насыпи. Далее, в ясную погоду виден Эльбрус, со всею цепью гор Кавказских, которые, как шатры, белеются на небосклоне, и блестящими льдистыми верхами подпирают свод неба» [1].

Первые впечатления Печорина от Пятигорска, обстановка и самый образ его первоначальной жизни там, очень напоми-

---

[1] «Московский Телеграф», № 10, 1830, май, стр. 182—183. См. также описание Пятигорска и Кисловодска у К. И. Зеленецкого «Кавказские минеральные воды в 1852 г.» («Москвитянин», № 6, 1853, стр. 41—70). В Кисловодске «в доме Ребровой, лежащем на покатости горы, возле источника» Лермонтов поместил развязку своего романа» (стр. 70).



Дом Лермонтова в Пятигорске.
(С акварели А. А. Бильдерлинга.)

нают то, что пишет Лермонтов М. А. Лопухиной из Пятигорска в письме от 31 мая 1837 г.:

«У меня здесь очень хорошее помещение: каждое утро я вижу из своего окна цепь гор и Эльбрус; вот и теперь, когда я пишу это письмо, я время от времени останавливаюсь, чтобы посмотреть на этих великанов: они прекрасны и величественны. Собираюсь основательно поскучать все время, покуда буду оставаться на водах, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам и уже от этого одного укрепил себе ноги; я только и делаю, что хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают... Вот вам мой образ жизни, милый друг».

«Последняя туча рассеянной бури...» —

стих из «Тучи» А. С. Пушкина (1835).

«Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка» —

отзвук юношеского (1830 г.) обращения Лермонтова к Кавказу «Синие горы, приветствую вас!», где есть стих: «Воздух там чист, как молитва ребенка». В свою очередь этот стих есть отклик на характеристику дочери Яфара из

«Абидосской невесты» Байрона: «чиста, как у детей молитва на устах» (перев. И. И. Козлова).

«Солнце ярко, небо сине — чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?» —

одно из частых у Лермонтова противопоставлений покоя и безмятежия природы — беспокойству и мятежу человека. Ср. в «Валерике» (1840):

Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет?.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспокойно и напрасно
Один враждует он — зачем?

Лермонтовское описание «водяного общества» в точности совпадает с зарисовками мемуаристов: «В то время съезды на кавказские воды были многочисленны, со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах?.. Со всех концов России собираются больные к источникам, в надежде, и большею частью справедливой, исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников со своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой стакан в колодезь; казак, с нагайкой через плечо, обыкновенною его принадлежностью, бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщится и не может удержаться, чтоб громко не сказать: «чорт возьми, какая гадость!» Легко-больные не строго исполняют предписания своих докторов держать диэту, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колоний двух славных поросят и велел их изжарить к обеду» [1].

Совершенно также описывает «водяное общество» корреспондент «Московского Телеграфа» [2]:

---

[1] Лорер Н. И., Из записок, «Русский Архив», кн. 2-я, 1874, столб. 681—682.

[2] «Московский Телеграф», № 10, 1830, июнь, стр. 188 –189.





Билет Н. С. Вяземского на пользование ваннами в 1838 г.

(Из частного собрания.)

«После обеда почти все посетители в одно время собираются для питья воды к кислородному колодцу. Место этого сборища составляет площадка, образующаяся, так сказать, на первой ступени горы Машуки. Вся огромная масса горы защищает площадку от севера, а каменистая скала, отрог той-же горы, — от юга. Растущие по обеим сторонам кусты шиповника, дубки и выдавшиеся из скал огромные, седые камни делают это место и диким и довольно приятным. Люди, которые сходятся к кисло-серному колодцу, составляют картину пеструю, живую, разнообразную. Там вы увидите и франта, одетого по последней моде, и красавицу в щегольском наряде и черкеса в лохматой шапке, и казака, и грузинку, и грека, и армянина, и калмыка с косою и с огромным блюдом на голове... Глядя на все это, невольно скажешь:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!..»

Посылая Онегина убивать скуку на «минеральные воды» (9 глава романа, 1829—1830), Пушкин посылал его по проторенной дорожке, по которой ранее и позже Онегина, до 1838 г., странствовали на «воды» сам Пушкин, Раевский, Батюшков, А. Бестужев, Белинский, Сатин, Огарев и др.

«Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум».

В цензурно-приемлемой форме Лермонтов дает здесь понять, что на Кавказе при Александре I и особенно при Николае I было легко встретить офицеров, переведенных в

виде наказания из гвардии в армейские полки (как Печорин и сам Лермонтов), или разжалованных в солдаты (как многие декабристы). Число таких подневольных офицеров-армейцев и рядовых было так велико, что «образованный ум под белой фуражкой» сделался привычным гостем военного общества на Кавказе. «Пылкое сердце под нумерованной пуговицей» — псевдоним людей столичной военной среды, платившихся кавказскою ссылкой за независимость характера и суждений, не терпимых Николаем I и его приспешниками.

Товарищ Лермонтова по службе на Кавказе, Руфин Дорохов, был три раза разжалован из офицеров в солдаты — по официальному определению—«за шалости», т. е. за независимость своего поведения [1].

«По выражению одного из офицеров, Карла Ламберта, в ту эпоху существовали только две дороги в России: первая, доступная единственно для весьма немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж; вторая, открытая для всех. остальных смертных, вела на Кавказ. И укатали же эту дорожку до такой степени, что весьма часто случалось офицерам, едущим по казенной необходимости, сидеть по трое суток на станции в ожидании лошадей» [2].

«Несколько раненых офицеров сидело на лавке, подобрав костыли, — бледные, грустные».

«Военные экспедиции на Кавказе», по замечанию декабриста А. Е. Розена, «кончались в июне». Пятигорск переполнялся военными. «Гвардейские офицеры, после экспедиции, нахлынули в Пятигорск» — вспоминает Н. И. Лорер о 1838 годе — «и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи; вод не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов; их заменяют лорнеты, хлыстики... Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами» [3]. Лермонтов здесь уделяет внимание только одной группе офицеров: тяжело-больных, измученных войной. Офи-

---

[1] Ракович Д., Тенгинский полк на Кавказе 1819—1896 гг., Тифлис 1900, стр. 247.

[2] Мартынов Н. С., Экспедиция действующего Кавказского отряда за Кубанью в 1837 г. под начальством ген.-лейт. Веньяминова, «Известия Тамбовской Арх. Комис.», том 47, Приложение, стр. 154—155.

[3] «Русский Архив», № 2, 1874, столб. 681—682.

церство, веселящееся на водах, изображено у него далее резко отрицательно. В «водяном обществе» Лермонтов не мог поместить декабристов-офицеров и солдат (Н. И. Лорер, кн. В. М. Голицын, кн. А. И. Одоевский, бар. А. Е. Розен и др.), которые именно в эти годы (1837—1838) лечились на водах. Отсутствуют у него и разжалованные офицеры типа Р. И. Дорохова.

«Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия вод».

В черновике было: «*большими* шагами». Добиваясь точности эпитета, Лермонтов заменяет «скорыми»: ускорение шага доступно всем, но сделать шаг «большим» невозможно тому, у кого он от природы маленький.

Эолова арфа — струнный инструмент, звуки которого извлекаются порывами ветра (*Эол* — бог ветров); эолова арфа была устроена на крыше павильона: «звуки ее далеко разносились в воздухе, а когда была настроена, то и довольно *гармоничные*» [1].

«*gris de perles*» — жемчужного цвета.

«*Couleur puce*» — цвета блохи, т. е. темнокоричневые.

«Трость точно у Робинзона Крузо».

Робинзон Крузо, действующее лицо знаменитой одноименной повести Даниэля Дэфо (1659—1728), выброшенный кораблекрушением на остров, принужден был вести там жизнь дикаря.

«*Прическа à la moujik*» — под мужика, по-мужицки, т. е. с длинными волосами, сзади подстриженными в кружок.

«*Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoutante*» — дорогой мой, я ненавижу людей, чтобы не презирать их, так как иначе жизнь была бы слишком омерзительным фарсом.

«*Mon cher,* — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон: — *je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule*» — дорогой

---

[1] Шан-Гирей Э. А., «Нива», № 27, 1885, стр. 643.

мой.., я презираю женщин, чтоб не любить их, так как иначе жизнь была бы слишком смешной мелодрамой.

«Я лгал, но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом...»

Это почти самопризнание самого Лермонтова. При известной встрече с Лермонтовым у Сатина в Пятигорске, в 1837 г., Белинский «начал говорить о французских энциклопедистах... На серьезные мнения Белинского Лермонтов начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками. — Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере, — сказал он в заключение: — если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры. — Такая выходка совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел, молча, на Лермонтова, потом, едва кивнув головой, вышел из комнаты» [1]. Упорная, нарочитая страсть Лермонтова к противоречиям изумляла Белинского и впоследствии: «Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение» [2]. «Сблизившись с Лермонтовым, я убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах постоянно над намеченной им в обществе жертвой составляло одну из резких особенностей его характера» [3].

---

13 мая.

«Неровности его черепа... поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей».

В конце XVIII — в начале XIX вв. было распространено увлечение френологией, мнимой наукой, утверждавшей, что

---

[1] Сборник «Почин», 1895, стр. 240.
[2] Панаев И. И., Воспоминания, М. — Л. 1928, стр. 114.
[3] Мещерский А. В., Воспоминания, СПБ 1901, стр. 89.

различные умственные способности связаны с различными отделами мозга и что по форме и выпуклостям черепа можно судить о наклонностях человека. Лермонтов в 1841 г. писал Д. С. Бибикову: «покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галля» — френологические сочинения Лафатера: — «L'art de connaître les hommes par la physionomie», Paris 1820, и Галля: «Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier», Paris 1810—1818.

«Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать».

Подчеркивая полную близость Вернера и Печорина в их общем скептицизме, Лермонтов вспоминает известный рассказ Цицерона про римских жрецов: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется гарустик, когда видит другого гарустика» [1].

Жрецы-гадатели (авгуры, гарустики и др.), составляя в древнем Риме политически важную коллегию, занимались «истолкованием воли богов», не имея сами и тени веры в свои истолкования и в самих богов. Замечательно, что первоначально, вместо «по словам Цицерона», в рукописи стояло: «по словам Виргилия», римского поэта эпохи Августа (I век н. э.). Вложив в уста Печорину широко распространенное сравнение с авгурами, Лермонтов заставил себя найти точное указание, кому из древних принадлежит это сравнение.

«Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль».

Дуэль — поединок-бой холодным или огнестрельным оружием между двумя противниками ради восстановления оскорбленной чести одного из них — была широко распространена в дворянском классе первой половины XIX в. Правительство пыталось бороться с этим феодальным средневековым способом защиты сословно классовой чести: законы Петра I присуждали обоих дуэлянтов к смертной казни; Екатерина II грозила им лишением прав и ссылкой в Сибирь; посредники при поединке, секунданты, рассматривались законом, как соучастники в убийстве. Постановления Екатерины II вошли,

---

[1] Cicero, De divinatione, кн. 2-я, гл. 24-я, § 51.

как действующее узаконение, в свод законов 1832 г., но на деле эти строгие законы не применялись. Правительство считалось с мнением командующего класса, видевшего в дуэли право и способ привилегированной защиты чести «благородного сословия», и самой сильной мерой наказания за дуэль употребляло — разжалование в солдаты, обычно заменяемое переводом из гвардии в армейские полки или в иные, худшие условия офицерской службы. М. Ю. Лермонтов за дуэль с Барантом был в 1840 г. присужден к лишению чинов, дворянства и разжалованию в рядовые, но сам же военный суд ходатайствовал о замене этого наказания трехмесячным арестом на гауптвахте и переводом, в том же чине, на Кавказ, в армейский полк. Николай I утвердил ходатайство суда, даже смягчив его отменой ареста. Ни царь, ни военный суд не питали к Лермонтову ни малейшего расположения, видя в нем беспокойного поэта и непослушного офицера, но смягчили наказание за дуэль автоматически, как почти всякому дворянину, считаясь с дуэлью, как с внешне не узаконенной, но прочно усвоенной привилегией дворянства. Те, сравнительно немногие дуэлянты, которые были наказываемы разжалованием в солдаты, приобретали в глазах дворянской молодежи ореол классовых героев, страдающих рыцарей чести. Солдатская шинель Грушницкого послужила для княжны Лиговской романтическим аттестатом, придающим его личности особый интригующий интерес.

«Я глупо создан: ничего не забываю, — ничего!»

Признание это сближает Печорина со многими героями лермонтовской поэзии. Они все не знают и не хотят забвенья; все они наделены неумирающей памятью:

Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.
. . . .
Увы! твой страх, твои моленья,
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне! [1]

---

[1] «Любовь мертвеца», 1841.

Этот же мотив проходит через все очерки поэмы «Демона», отливаясь в формулу:

Забыть? — забвенья не дал бог,
Да он и не взял бы забвенья [1].

В Лермонтове «от природы преобладала эмоциональная деятельность над рефлексией. Он обладал такою же страшною «памятью сердца», как Байрон, т. е. способностью воспроизводить в сознании после многих лет испытанные когда-то ощущения, не только с первоначальною их свежестью, но еще обособленные, усиленные и дополненные воображением» [2].

---

16 мая.

«О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар».

Имя Архимеда (III век до н. э.), одного из величайших математиков древности, упоминается и в «Княгине Лиговской»: «Но это *если*, это ужасное *если*, почти похожее на «если» Архимеда, который обещал приподнять земной шар, если ему дадут точку упора».

«Кто этот господин, у которого такой тяжелый взгляд?»

Буквальное повторение впечатления, вынесенного от взгляда Печорина офицером-рассказчиком в повести «Максим Максимыч».

«Она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой».

Первоначально было в рукописи: «для тебя *скомпрометируется*». Лермонтов зорко заботился о чистоте языка и тщательно избегал иноязычных примесей в романе. Другие примеры дают возможность проследить эту заботу на всем протяжении романа. «Я всегда готов *рисковать*» — Лермонтов поправляет Печорина: «*подвергать себя смерти*». «Впрочем, очень *натурально*, что ей стало тебя жалко» — «очень *понятно*». В первой записи дневника Печорина: вместо

---

[1] Последняя редакция, ч. 1-я, строфа 9-я.

[2] Спасович В. Д., Байронизм у Лермонтова, Сочинения, т. II, СПБ 1889, стр. 308.

«*минеральные* ключи» — «*целебные*». В «Фаталисте», несмотря на заглавие, всюду выдержано русское обозначение понятия: «предопределение», а не «фатализм». Это сделано сознательно: в черновой рукописи, во фразе: «не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению» первоначально стояло: «фатализму».

«Я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente».

Fièvre lente — изнурительная лихорадка (малярия).

«Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра... Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, — все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес».

Лермонтов был отличный наездник и страстный любитель быстрой верховой езды. «Однажды Лермонтову пришлось кинжалом отбиваться от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Благодаря превосходству своего коня поэт ускакал от них. Только один его нагонял, но до кровопролития не дошло. Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствие скакать с врагами наперегонки, увертываться от них, избегать перерезывающих ему путь». Один из сослуживцев Лермонтова рассказывает: «Гарцовал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщевую шапку, бросался на чеченские завалы» [1].

Быстрая езда, как средство развеять душевную боль и тревогу, — частый мотив у Лермонтова:

Я мчался на лихом коне
В пространстве голубых долин,
Как ветер волен и один.
Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал.
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,

---

[1] Висковатов П. А., М. Ю. Лермонтов, стр. 342—344.

Отбрасываем был землей.
И я в чудесном забытьи
Движенья сковывал свои
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить
И долго так мой конь летел...

(«Люблю я цепи синих гор», 1830)

С этим отрывком следует сопоставить скачку Измаила-бея после первого совершенного им убийства (часть 1-я, строфа XVI). В дикой скачке человек обретает высокое ощущение вольности. «Узник» просит:

Отворите мне темницу
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня!
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю
Посмотреть поближе мне [1].

(1832.)

В строфах CXLV—CXLVI непредназначавшейся для печати поэмы «Сашка» (1836—1839) Лермонтов рисует образ вольного «любимца природы»:

Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться...
Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых...

Этому счастливому жребию, изображенному по Руссо («l'homme de la nature») и по Байрону, Лермонтов противополагает скучную и жалкую участь современного «лишнего человека» из образованного общества.

Признание Печорина, что общение с природой победительно рассеивает его горечь и мыслительное беспокойство, есть повторение признания самого Лермонтова: «Для меня горный воздух — бальзам; хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит; ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь» [2].

---

[1] Ср. Семенов Л., Лермонтов и Лев Толстой, М. 1914, гл. XVI. Любовь к лошадям и быстрой езде, стр. 200—212.

[2] Письмо к Раевской с Кавказа, 1837; смотри также стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива», того же года.

«Я думаю, казаки, зевающие на вышках, видя меня, скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса».

Сторожевые деревянные вышки устраивались на кавказской линии для постоянного наблюдения за черкесами. Подле вышки находился высокий столб с прикрепленной к нему на жерди соломой или паклей. Заметив черкесов, казак, дежуривший на вышке, зажигал солому, сигнализируя опасность, и казаки, дожидавшиеся с оседланными конями подле вышки, скакали по линии с вестью о появлении неприятеля.

«И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный дэнди; ни одного галуна лишнего...»

Носся черкесскую одежду (*бешмет* — полукафтанье, поверх которого надевалась суконная *черкеска* с патронами на груди; *ноговицы* — кусок сукна или тонкой кожи, охватывающий голень и застегивающийся сбоку), Печорин подчеркивает, что носит ее так же, как носил гвардейский мундир в Петербурге: с аристократической изысканной простотой, как дэнди, законодатель моды, одевающийся с безукоризненным вкусом. «Хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего» («Княгиня Лиговская»)[1].

«Я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en pique nique (на пикник)... Кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы!»

«По дороге от Пятигорска к Железноводску красиво разбросалась и существует давно уже колония шотландцев, от чего называется Шотландкою; чистые, на немецкий манер, домики имеют садики и огороды, и вся постройка тонет в зелени садов. Зажиточные колонисты часто отдают свои домики под пикники, устраиваемые наезжающими сюда семействами из Пятигорска. Подобных роз-центифолий, какие я рвал в Шотландке, мне не случалось видеть нигде... Жители

---

[1] Ср. контрастное описание мундира Грушницкого, запись 13 июня.

живут в довольстве и покое, но лет десять тому назад подвергались набегам горцев» [1].

«*Змеиная* — одна из гор на степи в окрестностях Пятигорска; подошвою своею соединяется с Железною горою. Змеиная гора скалиста, имеет крупные скаты и издали походит на группу змей. *Железная* гора (по-татарски: *Жлантау*, по-черкесски *Бле-ошга*, состоит из известкового и глинистого сланца и покрыта густым лесом, в котором собственно и находятся минеральные источники. *Лысая гора:* к с.-в. от Пятигорска, на правом берегу верховьев р. Подкумка, состоит из известняка» [2].

«Кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским» — переделка стиха из «Горе от ума»: «Французского с нижегородским».

«*Mon Dieu! un circassien*» — Боже! черкес!

«*Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier*» — не бойтесь ничего, сударыня, я не опаснее вашего спутника.

«Поздно вечером, т. е. часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара».

Описание ночи в Пятигорске может служить образцом письма Лермонтова последних лет. Несколько строк — и перед нами полная, всеобъемлющая картина ночи. Словам в ней тесно, но живописи и музыке просторно. Первая половина описания построена на *зрительных* впечатлениях вечера: «в некоторых окнах мелькали *огни*. С трех сторон *чернели* гребни утесов, отросли Машука, на вершине которого лежало *зловещее* облачко; месяц подымался на востоке; вдали *серебряной* бахромой сверкали *снеговые* горы». На смену зрительным выступают *слуховые* впечатления: шум ключей, топот коня, скрип арбы, припев песни. С проникновенным реализмом и вместе с тончайшим лиризмом подмечает Лермонтов эту смену впечатлений и из нее создает *картину* и вместе *симфонию* ночи, опираясь на прекрасную ясность малейшей черты, на мелодичную точность любого звука. Это проза

---

[1] Лорер Н., Из записок, «Русский Архив», ч. 2-я, 1874, столб. 689—690.

[2] Географич.-статистический словарь, сост. П. Семенов, т. II, СПБ 1865, стр. 224, 282; т. III, СПБ 1867, стр. 111.

Автограф страницы с описанием ночи в Пятигорске.

(«Княжна Мери».)

поэта, умеющего кристаллизовать чувство, мысль, образ в емкое, прозрачное, как кристалл, слово, звучащее как мелодия; но это и проза глубокого реалиста, тонкого психолога, безошибочного наблюдателя людей и вещей. Этот отрывок, взятый отдельно, есть проникновенное изображение теплой южной ночи, но он же в ряду страниц психологического романа дает тонкую зарисовку субъективных переживаний Печорина, без которых был бы не полон его образ.

«Самый приятный дом для меня теперь мой», — сказал я, зевая...

Ср. письмо Лермонтова к М. А. Лопухиной [1]: «Назвать вам всех, у кого я бываю? Я — та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием».

---

29 мая.

«Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания».

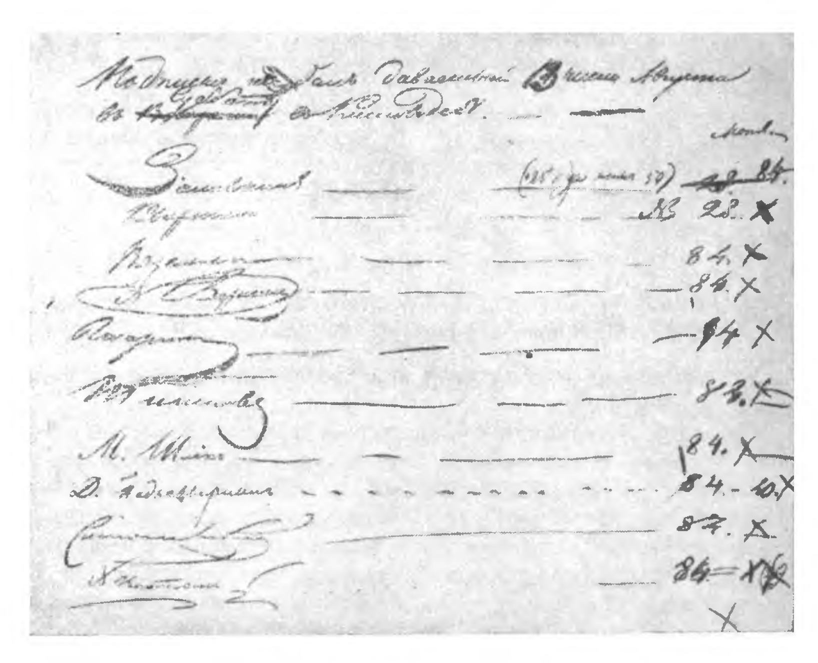
Вот какое описание пятигорской ресторации читаем в «Московском Телеграфе» [2]:

«Здешняя ресторация служит очень приятным местом общего сборища. В ней можно хорошо и недорого пообедать; а охотники до виста или бостона всегда найдут там себе партию. Комнаты ресторации убраны хорошо, зала ее обширна и очень удобна для танцев, которые в ней иногда и бывают. Словом: больные, выдержавшие карантин на горячих водах в Кисловодске, начинают оживать и опять знакомиться понемногу с удовольствиями света. Однакож на бале, который здесь был при мне, как-то все еще плохо клеилось, и в танцы пускались очень немногие. Зато игорные столы все были заняты. Видно, что господа выздоравливающие не совсем еще освободились от лени, которую нагоняют теплые ванны и серные пары, или, может быть, иные из них вздумали позаботиться также и о поправлении здоровья кошельков своих, которое от долгого пребывания на Кавказе весьма легко может расстроиться».

«*Благородное собрание*» — клуб «благородного», т. е. дворянского сословия, существовавший до революции 1917 г. в каждом губернском городе. В зимнее время в «благородных собраниях» устраивались балы, на которых «вывозили» девушек-невест: так, «в Москву, на ярмарку невест» везут пушкинскую Татьяну, «ее привозят и в Собранье» и там встречает она «генерала», будущего своего мужа. Вход в «благородное собрание» был доступен только дворянам. Бал, описываемый в данной записи — дворянский бал, устраиваемый «по подписке» офицерскою молодежью. В альбоме кн. Н. С. Вяземского, товарища Лермонтова и по школе гвардей-

---

[1] Петербург, 28 августа 1832 г.
[2] «Московский Телеграф», № 10, 1830, стр. 314, 315.



Подписной лист на бал в Кисловодске в 1838 году.

(Из частного собрания.)

ских подпрапорщиков и по службе на Кавказе, сохранился лист: «Подписка на бал, даваемый 13 числа августа [1838 г.] в субботу в Кисловодске». В подписной складчине на бал участвуют Лев С. Пушкин, брат поэта, кн. А. А. Суворов, кн. Голицын (вероятно Вл. С., знакомец Лермонтова), кн. Гагарин и другие представители офицерской аристократии. Тот же Вяземский, организатор подписки, сохранил отчет в израсходованной на бал сумме. Освещение стоило — 207 руб. 75 коп.: «За 500 плошек — 110 (рублей). За освещение залы и столовой — 93 р. 75 к.; 10 фунтов свеч сальных — 4 руб.». Бал затянулся: «прибавлено на окны 15 фу (нтов) свечей — 37 р. 50 к.; переменены люстры и на окны — 30 фу (нтов) — 75 р.; на фонари выдано 4 фу (нта) — 10 р.». Далее идут крупные расходы: «70 персон ужин — 700 рублей; угощение чаем, мороженым и фруктами — 190» и более скромные «прислуги 15 человек — 84; за залу — 56». На балу было выпито вина 61 бутылка (шампанское разных марок, ренвейн, сотерн, мадера, малага, мозельвейн и т. д.) на

442 рубля. Прибавив к этим расходам небольшие: «садовнику дано — 21, за дрожки в Пятигорск — 6 р.» и какой-то «особо поданный счет» в 89 р. 30 к., получаем общую сумму расходов—1919 р. 05 коп. серебром. Вот в какую крупную, особенно для кавказского захолустья, сумму, равную годовому оброку с нескольких деревень, обходился подписной бал на водах, превращавший убогую «ресторацию» в пышное «благородное собрание» [1].

«Пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты».

Все зарисовки Печориным «водяного общества» ироничны, но в то время, как рисуя княгиню Лиговскую, мужа Веры, людей столичного круга, Печорин ограничивается сдержанной иронией, представителей дворянского захолустья — «толстую даму», «драгунского капитана» и др., он рисует с явным сатирическим нажимом карандаша. В зарисовке «толстой дамы» нажим сделан на старомодность: у нее лицо, словно у жеманницы XVIII в., в «мушках» — искусственных родинках из тафты, наклеивавшихся на щеки, платье ее похоже на «фижмы» — пышнейшую юбку на широком каркасе из китовых усов, модную при Екатерине II; даже фермуару, золотой скрепе ожерелья, придано сатирическое значение — маски для бородавки.

«*C'est impayable*» — это презабавно!
«*Merci, monsieur*» — благодарю вас.
«Ангажировать *pour mazur*» — приглашать на мазурку.

---

11 июня.

«А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им до-сыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости

---

[1] Альбом кн. Н. С. Вяземского, л. 11 и 12; частное собрание; печатается впервые.

других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость...»

В самопризнаниях Печорина, включенных им в эту запись его «Журнала», центральное место принадлежит признанию в «жажде власти»: «подчинять моей воле все, что меня окружает» — вот в чем «первое удовольствие» Печорина (см. об этом в очерке «Печорин»).

Сопоставляя Онегина с Печориным, В. Г. Белинский (статья 1840 г.) утверждал, что они близнецы по социальному происхождению и общественному положению, но резко отличны между собой тем, что Онегин — не деятелен, а Печорин — весь порыв к действию: «Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее невозвратное.

Если бы он явился в наше время, вы имели бы право спросить вместе с поэтом:

Все тот же он, иль усмирился?
Иль корчит также чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? — Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?

Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство их между собой гораздо меньше расстояния между Онегой и Печорой. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и невидимая самим поэтом...

Что такое Онегин? — Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому все пригляделось, все приелось, все прилюбилось и которого вся жизнь состояла в том,

что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду. Трагедия Печорина в том, что его погоня «за жизнью» в тесных пределах его времени и среды оказывается безрезультатной».

«Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного».

Ср. признание декабриста Лорера, произведенного из рядовых в офицеры: «В Керчи я сшил себе сюртук Тенгинского пехотного полка и когда посмотрелся в зеркало, то нашел себя очень смешным. Солдатская шинель мне как-то была более к лицу» [1]. Грушницкий радуется офицерскому мундиру и эполетам [2], потому что он вводит его как равноправного в дворянское общество, — в частности, в «благородное собрание», на балы, куда как рядовой он не имел доступа.

«Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко-тронутый вид: «Да, такова моя участь с самого детства!..»

Лермонтов — словами «приняв глубоко-тронутый вид» — дает намек на некоторую нарочитость, намеренность последующего признания Печорина, высказанного с расчетом произвести определенное действие на княжну. Примечательно, что этот монолог, в значительной части, поэт взял из драмы «Два брата» (1836). Там (действие 2-е, сцена I) его произносит Александр Радин в сходном драматическом положении: он хочет вызвать в любимой женщине, Вере, вышедшей за князя

---

[1] «Русский Архив», кн. 2-я, 1874, столб. 668.

[2] Наплечные знаки у офицеров в царской армии с золотым или серебряным шитьем и такими же звездочками, обозначающими чин офицера.

Лиговского, чувство вины перед ним и новую любовь к нему: «Да, такова моя участь со дня рождения. Все читали на моем лице какие-то признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, — и они родились. Я был скромен, меня бранили за лукавство, я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли, — я стал злопамятен. Я был угрюм, брат — весел и открытен, я чувствовал себя выше его, — меня ставили ниже, я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, меня никто не любил, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с судьбой и светом; лучшие чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубину сердца, они там и умерли; я стал честолюбив, служил долго, — меня обходили; я пустился в большой свет, сделался искусен в науке жизни, — а видел, как другие без искусства счастливы. В груди моей возникло отчаяние, не то, которое лечат дулом пистолета, но то отчаяние, которому нет лекарства ни в здешней, ни в будущей жизни».

> «Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала...»

«От души ли говорил это Печорин или притворялся — трудно решить определенно: кажется, что тут было и то и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самим собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия, и, что бы ни попалось им на глаза, все служит им содержанием для этой формы. Мало того, что они хорошо помнят свои истинные страдания, — они еще неистощимы в выдумывании небывалых. Такие люди неистощимы в самообвинении: оно обращается ими в привычку. Обманывая других, они прежде всего обманывают себя. Истинная или ложная причина их жалоб — им все равно, и желчная горесть их равно искренна и непритворна» [1].

Нарочитость признаний Печорина выражается, главным образом, в сгущенности общего тона рассказа, в некоторой гиперболизации своих внутренних бедствий. По существу же, все заявления Печорина, сделанные княжне, сходны с теми, что вписаны в его дневник без всяких сторонних целей и без всякого расчета на чье-либо внимание.

---

[1] Белинский В. Г., Статья 1840 г.

13 июня.

«Где нам дуракам чай пить!» отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным»...

Лермонтов усиливает аристократический «дэндизм» Печорина одной деталью: он заставляет его вспоминать «любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным». «Повеса» этот, вероятнее всего, Петр Павлович Каверин (1794—1855), в 1810—1811 гг. геттингенский студент, в 1812 г. — ополченец, а с 1816 г. — офицер лейб-гвардии гусарского полка, того самого, в котором в 1834—1837 гг. служил сам Лермонтов. Лицеист Пушкин, общаясь с лейб-гусарами, близко сошелся с остроумным, блестящим Кавериным, и подражал этому законодателю моды и веселья в проказах и удальстве: в стихотворении «Я сам в себе уверен» Пушкин прямо назвал себя «маленьким Кавериным», сблизившись с ним впрочем не только хмелем «гусарских вольностей», но и общностью литературных и умственных интересов. Пушкин неоднократно воспевал повесу Каверина («К портрету П. П. Каверина», «К П. П. Каверину», «Веселый вечер в жизни нашей»), а в 1-й главе «Евгения Онегина» сделал его приятелем и однокашником своего «дэнди». Каверин был действующим лицом множества гусарских преданий, конечно, хорошо известных его однополчанину Лермонтову, в середине 1830-х годов искавшему той же славы гвардейского дэнди и веселого остроумца, которую признавал за Кавериным сам Пушкин. Остроты и меткие слова Каверина долго повторялись в петербургских гвардейских кругах [1].

Печорина Лермонтов делает своим человеком в этом кругу богатой гвардейской молодежи, к которому ранее принадлежали сверстники Онегина: Чаадаев, Катенин и др.

«Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов...»

Печорин иронически сравнивает себя с сочинителями так называемых «мещанских драм» (очень популярных со средины

---

[1] Щербачев Ю. Н., Приятели Пушкина М. Н. Щербачев и П. П. Каверин, Чтения в об-ве истории и древностей, М. 1913, кн. 3-я, стр. 44—47, 60—61 и др.

XVIII в.), в которых сентиментально изображенное благополучие буржуазной семьи нарушается обычно каким-нибудь «злодеем» из аристократической среды. Как образец пошлого жребия житейского, представляется Печорину — быть безвестным «сотрудником» какому-нибудь «поставщику повестей в «Библиотеку для чтения» (с 1834 г.), в ежемесячный журнал, широко распространенный в среде среднепоместного дворянства и провинциального чиновничества и наполнявшийся повестями, рассчитанными на неприхотливый вкус этих малокультурных читателей. Так как главным «поставщиком» таких повестей был сам редактор журнала О. И. Сенковский, писавший под псевдонимом барона Брамбеуса (см. главу о «Предисловии к роману»), то Печорин иронизировал над собой, как над поденщиком этого плодовитого писателя, к которому Лермонтов относился отрицательно.

---

18 июня.

«Вот уже три дня, как я в Кисловодске»...

Кисловодск, во времена Лермонтова, — укрепление и казачья станица, в 35 верстах от Пятигорска, при рр. Березовке и Ольховке, которые своим слиянием образуют р. Эль-Куму, впадающую в Подкумок. «В конце июля большая часть посетителей (Пятигорска) перебралась в Кисловодск; там чудная местность, воздух живительный. Кисловодское ущелье представляет одну из прелестнейших картин: возвышенности тенистые, ручей с шумом падает с плиты на плиту, соединяется с другими ручьями и втекает в Подкумок, прорезывающий широкую долину; на берегу ручья на холме — ресторация и несколько красивых домиков. Свежесть трав так необыкновенна от влаги и от тени! Далее в стороне от ущелья тянется в одну линию слобода, где всякая конурка, всякий чердак заняты посетителями. Но главная приманка в Кисловодске — славный источник Нарзан, по-черкесски Богатырская вода. Ключ кипит в полном смысле слова, выбивает белую пену, клубится, поднимает воду на полсажени глубиною. Вода эта живит, подкрепляет, возбуждает аппетит, пьют ее по шестнадцати стаканов в день, не ощущая никакого отягощения в желудке: охотники пили ее с кахетинским или с донским вином. Кто пил нарзан несколько недель сряду, тому трудно расставаться с ним» [1]. Живительным кра-

---

[1] Розен А. Е., Записки декабриста, СПБ 1907, стр. 255.

сотам Кисловодска посвящено стихотворение Д. П. Ознобишина «Кавказское утро», написанное в Кисловодске в 1839 г.[1]

«Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа» —

реплика Чацкого из «Горя от ума» А. С. Грибоедова.

«Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет» —

два стиха из посвящения П. А. Плетневу «Евгения Онегина».

«Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме».

В XIII песне знаменитой поэмы Торквато Тассо (1544—1594) «Освобожденный Иерусалим» рассказывается, как герой поэмы, рыцарь Танкред, вступил в очарованный лес:

Спокойно встретил он грозящий леса вид:
Рев грома, трус[2] земли героя не страшит.
. . . .
Течет... уже вступил под мрачный теней свод.
И се вдруг пламенный возник пред ним оплот,
Остановился он...

Несмотря на разливающуюся пред ним огненную преграду, Танкред смело идет вперед:

...Вступивший в глубь пожара,
Не чувствует герой ни пламени, ни жара;
Не разгорелася сребристая броня;
Не знает: огнь сие, иль признак лишь огня
Грозил его очам; и как решить? — В мгновенье
При первом шаге, все исчезнуло виденье; —
Простерлась ночь кругом — настал ужасный мрак;
И мраз, и ночи мгла исчезли в тот же час. —
. . . .
Нет более чудес, явлений чрезвычайных,
Не видит ничего, ничто не держит стоп,
Кроме сгущенных древ и преплетенных троп. —
Достигнул наконец пространнейшего луга,
Который, возносясь, образовал полкруга.
И ската посреде, как пирамиды вид,
Надменный кипарис, уединен, стоит[3].

---

[1] «Отечественные Записки», т. IX, 1840, стр. 151—152.
[2] Землетрясение.
[3] Перевод А. Мерзлякова, ч. 2-я, М. 1828, стр. 100—101.

«Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира...»

Вампир — или упырь — сказочный оборотень, тайно высасывающий из людей кровь. Печорин вспоминает под именем «Вампира» мрачного героя одноименной анонимной английской повести (1819), переведенной на разные языки (в том числе по-русски) и широко читавшейся в первой четверти XIX в. из-за своей фабулы, изобилующей таинственностью в судьбах героя, обилием ужасов и приключений. Издатель приписал повесть Байрону; как произведение этого «властителя дум», воспринимал повесть и европейский читатель,— в том числе, вероятно, и Лермонтов. Байрон отрекся от повести, автором которой он не был, но которая все-таки исходила от него: «Вампир» есть запись изустного рассказа Байрона, сделанная в Швейцарии его спутником по путешествию, доктором Полидори.

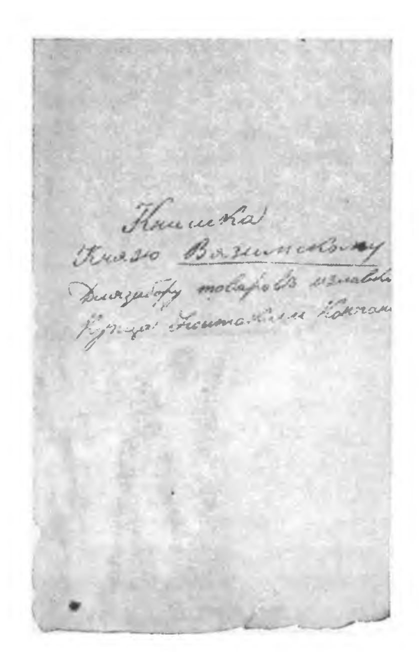
«Огни начинали гасить в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались».

Кисловодск во времена Лермонтова был укреплением, входившим в состав Кавказской военной линии.

Пикеты — передовые караульные посты.

«В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и клики, изобличавшие военную пирушку».

Для военной молодежи, особенно из зажиточных дворянских семейств «минеральные воды» служили местом разгула. Как велико было там потребление не только «кахетинского», т. е. местного кавказского, но и других иностранных вин, видно из «Щота», поданного товарищу Лермонтова Н. С. Вяземскому в 1838 г. кисловодским «купцом Нойтаки»: 27 июля князю было отпущено 4 бутылки «ренвейну», 1 — «виндерграфу», 2 — «шампанскова» и 2 фунта восковых свечей, всего на 68 руб.; 28 числа — 5 бутылок «виндерграфу» и 1 — «ренвейну», на 23 рубля; 29-го — 1 фунт «шыколаду» за 4 р.; 30-го — 1 бутылка «виндерграфу» —3 рубля; 1 августа — 5 фунтов восковых свечей, 3 ящика «пахитос»,


Книжка
Князю Вяземскому

Лист из книжки купца Нойтаки по забору товаров для Н. С. Вяземского.

(Из частного собрания.)

1 бутылка шампанского «креман» и 1 бутылка рому, всего на 75 р. 50 к.; 4-го отпущено — 3 бутылки того же шампанского за 54 р., 2 фунта восковых свечей за 5 р. и т. д. Усиленное потребление восковых свечей выдает, что попойки у Вяземского (за 8 дней на вино, лакомства и свечи истрачено 232 р. 50 к.) сопровождались картежной игрой по ночам [1].

> «Господа! сказал он, это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил на свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги».

Слова драгунского капитана, сочувственно встреченные остальной компанией, изобличают глубокую неприязнь кав-

[1] Альбом кн. Н. С. Вяземского, л. 11, частное собрание; печатается впервые.

казского боевого армейского офицерства к привилегированным гвардейцам, попадавшим на Кавказ в специальные военные командировки. В «Воспоминаниях о службе на Кавказе в начале 1840-х годов» М. А. Ливенцова читаем такие жалобы боевого офицера навагинского полка: «Скоро понаедут к нам целые легионы «гвардионцев»... человек 60 прискачут наверно, пронесутся по дорогам лихие курьерские тройки с бубенцами и колокольцами, «со звонами малиновыми» и с «пустозвонами прекрасными», шестьдесят наград отнимутся у наших многотерпцев-строевиков для украшения этих «украсителей» модных салонов! Чудеса, право! Посылают их, видите ли, с тою полезною целью, чтобы ознакомить «будущих крупных деятелей» со всеми особенностями кавказской войны, ну, и расползутся эти «украсители» по штабам да в ординарцы к генералам. Какая же в них польза, и с чем они ознакомятся? А послушали бы вы, что станут они рассказывать в Петербурге про наши дела не только барыням и барышням, а и важным чиновным старцам, — просто потеха. Оттого, вероятно, в России государственные деятели менее знают о Кавказе, чем каждый привратник в Париже — об Алжире» [1].

Другой боевой офицер в тех же «воспоминаниях», старый майор типа Максима Максимыча, отмечает другую вредную сторону влияния гвардейцев на кавказское массовое служилое офицерство: «С уходом «бонжуров» уменьшились у нас картеж и пьянство, прежде денежки этих господчиков ходили в обращении, а затем настало безденежье, жизнь в обрез, на маркитанскую книжку. А и право же лучше так: играют в банчишко или преферанс по маленькой, зато шуллеришек не разводится. Покучиваем мы уже не из хлопушек шампанских и портерных, а кизлярка, чихирь да очищенное отдуваются, а то и спирт разведенный хлебаем: дешево и сердито Попрежнему-то бывало: подавай нам Клико да Эль-кок, портер, ликеры; цымлянским и пивом брезгали, чехирем — ноги мыли, — вот как важно!» [2].

При оценке отношений Грушницкого, драгунского капитана и всей компании к Печорину необходимо учитывать общую неприязненность кавказских армейцев, на которых лежала вся тяжесть долголетней и трудной войны, к гвардейским «слеткам» — гастролерам, к числу которых они ошибочно причисляют и Печорина.

---

[1] «Русское Обозрение», № 8, 1894, стр. 698.
[2] Там же, № 4, 1894, стр. 751—752.

25 июня.

«Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune; но над мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего...»

Размышления Печорина, почему он не может предложить княжне «son coeur et sa fortune» (свое сердце и судьбу), являются параллелью к отповеди Онегина Татьяне (строфы XXIV—XXV главы 4-й). Еще ближе заявление Печорина: «я готов на все жертвы... но свободы моей не продам» — к позднему признанию Онегина (гл. 8-я, Письмо к Татьяне):

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел;
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.

Об отказе Печорина от любви Мери Добролюбов писал: «Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова [1], и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от ее любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины?»

---

[1] В романе А. И. Герцена «Кто виноват?..»

«Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне смерть от злой жены; это меня тогда глубоко поразило»...

В этом признании Печорина слышится отзвук одной автобиографической записи Лермонтова: «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет *великий человек* и будет два раза *женат*. Про меня на Кавказе предсказала *то же самое* старуха моей бабушке. Дай бог, чтобы и надо мной сбылось, хотя бы был так же несчастлив, как Байрон» [1].

---

26 июня.

«Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку».

Образец работы Лермонтова над сжатой ясностью изложения. Мы не знаем, кто схватил руку Печорина, но знаем, что это была *женщина;* а читая черновую рукопись, мы могли думать, что руку Печорина схватил мужчина: «*жаркая рука* схватила мою руку».

«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось, стали искать черкесов...»

В «Записках декабриста» А. Е. Розена читаем: «Теперь (1838) редко случается, в три или четыре года раз, что несколько отважных черкесов делают набег на Пятигорск, на Кисловодск и окрестности их. Отчаянные головорезы, как коршуны, спускаются на предместье и при первой тревоге, часто без всякой добычи, ускакивают во свояси» [2].

---

27 июня.

«Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

---

[1] 1830, тетрадь 7-я, автогр. ИРЛИ.

[2] Розен А. Е., Записки декабриста, СПБ 1907, стр. 253.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном; — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью».

Вызов Печориным Грушницкого на поединок был строгой неизбежностью с точки зрения дворянских понятий о чести, так как Грушницкий, в присутствии нескольких лиц, честным словом заверил, что видел, как Печорин поздней ночью вышел из комнаты княжны («Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь: московские барышни! После этого чему же можно верить?»). Оставленное без ответа со стороны Печорина заявление Грушницкого лишало бы княжну Мери чести в глазах общества; ответом же Печорина, при отказе Грушницкого взять назад свои слова, мог быть только вызов на дуэль. Случайно присутствовавший при объяснении пожилой муж Веры, стоя на точке зрения морали своего класса, горячо одобрил поступок Печорина: «Благородный молодой человек!» — сказал он со слезами на глазах».

«Он (доктор Вернер, секундант Печорина) должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что, хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире».

Печорин был выслан на Кавказ за дуэль; участие в новой дуэли грозило ему лишением дворянства и разжалованием в солдаты.

Условия шуточной дуэли, замышлявшейся компанией Грушницкого для посмеяния Печорина, остались приняты и для дуэли в ответ на вызов, сделанный Печориным: на них настаивал Грушницкий, которому, как вызванному, принадлежало первое слово в вопросе об условиях дуэли. Условия эти крайне серьезны: даже смертельная дуэль Пушкина, как и дуэль Лермонтова с Мартыновым, происходила не на шести, а на десяти шагах. При согласии Грушницкого на то, чтоб только его пистолет был заряжен пулей, подобная «дуэль» была прямой организацией убийства Печорина.

«Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту».

Дневник Печорина прерван его арестом, последовавшим после дуэли и смерти Грушницкого. Конец истории он записывает, уже находясь в ссылке в той глухой крепости N, в которой мы встретили его в повести «Бэла».

Перед дуэлью Лермонтов заставил Печорина забыться за чтением «Пуритан» — популярного романа Вальтер Скотта (1771—1832), писателя, которого сам Лермонтов, по собственным его словам, «не любил; в нем мало поэзии. Он сух» [1].

«Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему... — Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть».

Ср. юношеское признание самого Лермонтова: «Умереть с пулей в груди нисколько не хуже, чем умереть от медленной агонии старости. Итак, если начнется война, клянусь вам богом, что всегда буду впереди» [2].

«Я не помню утра более голубого и свежего...»

Лермонтов оставляет Печорина верным до конца своей любви к природе. Ее власть над ним так же велика, как над черкесом Измаилом-беем:

Забыл он все, что испытал:
Друзей, врагов, тоску изгнанья;
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал.

«Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря».

В числе многих легендарных предзнаменований, будто бы остерегавших Гая Юлия Цезаря (100—44 гг. до н. э.) от присутствия на заседании сената, в котором он был убит заговорщиками, называют и то, что Цезарь оступился на пороге по пути в курию Помпея.

---

[1] Панаев И. И., Воспоминания, изд. «Academia», М. — Л. 1928, стр. 220.
[2] Письмо к М. А. Лопухиной, 1832.

«Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами».

Переводчик и знакомый Лермонтова, Фридрих Боденштедт, пишет в своих воспоминаниях: «В конце романа описывается дуэль, в которой тот, кому первому предстоит подвергнуться выстрелу противника, должен стать на краю обрыва, чтобы в случае раны немедленно упасть туда на верную смерть: по странному сближению, почти точно таким же образом умер впоследствии сам Лермонтов. Это поразительное сходство положений объясняется тем, что Лермонтов был по убеждению отъявленным врагом дуэли, но, единожды доведенный до нее, не мог уже сделать из нее детской шутки или рисковать подвергнуться одному увечью. Поэтому он и принял такие меры, чтобы один из двух неизбежно остался на месте» [1].

В обеих своих дуэлях Лермонтов действительно выказал себя противником дуэли: он, насколько мог делать это, не нарушая ритуала дуэли, устранялся от нападения на противника.

В официальном своем донесении полковому командиру о поединке с Барантом (1840) Лермонтов писал: «Так как Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва мы успели скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он слегка оцарапал мне грудь. Тогда взяли мы пистолет. Мы должны были стрелять вместе, но *я немного опоздал*. Он дал промах, а *я уже выстрелил в сторону*. После сего он подал мне руку, и мы разошлись». В действительности, Лермонтов, отличный стрелок, не «опоздал», а не хотел стрелять в противника.

Еще более определенным противником дуэли Лермонтов держал себя в роковом поединке с Мартыновым. По словам секунданта А. Васильчикова, когда скомандовали: «сходись», «*Лермонтов остался недвижим* и, взведя курок, *поднял пистолет дулом вверх*, заслонясь рукою и локтем по всем правилам опытного дуэлиста... Я взглянул на

---

[1] «Современник», № 2, 1861, стр. 324.

него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта *перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов подошел к барьеру* (т. е. стрелял в предельной, допускаемой условиями дуэли, близости в противника, который стоял *недвижим с поднятым вверх пистолетом,* показывая этим, что *не будет стрелять*) и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте».

Мартынов убил поэта, заведомо не подвергаясь ни малейшей опасности быть убитому. Это было убийство, а не дуэль. «Лермонтову так жизнь надоела», писала Е. Быховец из Пятигорска, описывая дуэль, «что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот изверг имел духа долго целиться, и пуля навылет» [1].

Поведение Печорина во время дуэли сложно.

Он подвергает нравственному испытанию совесть и честь Грушницкого, выжидая, что тот не пойдет на прямое убийство, зная, что пистолет противника без пули. Для этого Печорин, к ужасу доктора, ставит себя безоружного, не только под пулю, но и подвергает себя величайшей опасности, даже при ничтожной ране, свалиться в пропасть. Для Печорина здесь — ставка на веру в человека. Он тщательно наблюдает Грушницкого и радостно отмечает: «Он покраснел, — ему было стыдно убить безоружного». Если б в этот момент Грушницкий, бросив пистолет, кинулся к Печорину, ставка на человека была бы выиграна и в личности Печорина произошел бы, может быть, сдвиг в сторону от холодного скепсиса и презрения к людям. Положение безоружного Печорина, стоявшего под пистолетом Грушницкого, здесь сходно с положением Лермонтова, недвижно, с поднятым вверх пистолетом, со спокойной улыбкой стоящего под дулом идущего на него Мартынова: Лермонтов также выжидал от Мартынова движения, свидетельствовавшего, что «ему стыдно убить» человека, молчаливо, но ясно показывающего, что он не будет убивать.

Но Печорин ставит под дуло Грушницкого еще и другое чувство, быть может, желание: «Какое вам дело, — возражает он Вернеру, пытающемуся остановить готовящееся убийство. — Может быть я хочу быть убит»! Это то самое чувство, даже желание, которое было и у Лермонтова: оно, на основании его собственного полупризнания, отмечено в письме Быховец. Печорину, как и Лермонтову, было свой-

---

[1] «Русская Старина», кн. 3-я, 1892, стр. 768.

ственно то отношение к смертельной опасности, которое выражено Пушкиным:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог.

Печорин знал это наслаждение быть «под чеченскими пулями» (см. «Бэлу»), он его испытывал на море, в лодке, в борьбе за жизнь с контрабандисткой («Тамань»), он толкал других на эту игру со смертью (пари с Вуличем в «Фаталисте»). Стоя под дулом Грушницкого, Печорин испытал это «неизъяснимое наслаждение» до конца, до возможного предела; побивая ставку на совесть человека, Грушницкий «целил ему прямо в лоб». Печорин ранен. Он едва-едва избежал опасности упасть в пропасть.

Потрясенный предательством, Печорин все-таки еще задерживает свою уверенность, что его ставка на человека бита: он «смотрит пристально в лицо» Грушницкого, «стараясь заметить хоть легкий след раскаяния». Вместо раскаяния он встречает усмешливую улыбку. Тогда он разоблачает всю историю с незаряженным пистолетом и делает последнюю попытку примирения. Но примирение уже невозможно для Грушницкого: оно было бы для него, с точки зрения офицерской и дворянской чести и морали, гражданским самоубийством.

«Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и в любви княжны к нему; самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина; самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы признаться в заговоре; самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека; то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание» [1].

Печорин стреляет в Грушницкого. «Finita la comedia» — «комедия окончена» — его единственные слова в эпилоге дуэли.

Сильнейшее потрясение Печорина от совершившейся трагедии Лермонтов выражает с предельной сжатостью и силой: «Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели». От ужаса совершившегося Печорин ищет спасения в одиноком блуждании среди природы. Примечательно, что

---

[1] Белинский В. Г., Статья 1840 г.

в своем потрясении Печорин не замечает на этот раз и природы: обо всем своем долгом странствовании — дуэль началась рано утром, а в Кисловодск он вернулся, когда уже солнце садилось — он может припомнить только: «я ехал долго, наконец очутился в месте мне вовсе незнакомом».

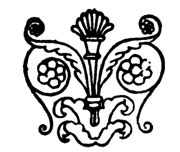
«Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска».

Печорин утром «получил приказание от высшего начальства отправиться в крепость», около полудня «зашел к княгине проститься» и «через час» после свидания с Лиговскими мчался к месту новой ссылки на «курьерской тройке», вероятнее всего, в сопровождении фельд-егеря, как экстренно высылаемый.

«Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце...»

Этим лирическим образом Печорин включает свою личность в семью тех вечных странников-отверженников, неуемных мятежников, скитальцев, которых Лермонтов с юношеских лет выводил в своих поэмах («Исповедь», «Измаил-бей», «Моряк», «Боярин Орша», «Мцыри и т. д.), каким был сам и каких символизировал в сходном образе паруса (1832):

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!





«Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты».

Действие повести происходит в той же Чечне, на левом фланге кавказской военной линии, что и действие «Бэлы»: из крепости N, где Печорин находился под начальством Максима Максимыча, он был, вероятно, послан по служебной надобности в станицу терских казаков[1], где мы застаем его в обществе армейского офицерства.

Фаталист (от fatum, судьба) — человек, верящий в судьбу, в предопределение.

«Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro (за) и contra (против)».

«Учение и вера в предопределение (фатализм), в то, что ход и исход жизни каждого человека извечно предопределены свыше, и человек не властен ни в чем его изменить,

---

[1] По сообщению А. П. Шан-Гирея — «Червленая станица».

выполняя в своей жизни лишь божественные предначертания, составляет одну из основ магометанского религиозного жизнепонимания. Исторические корни этого учения таковы: для мусульманина, как для христианина, бог всемогущ и всеведущ; будущее ему так же хорошо известно, как прошлое и настоящее; все, что делается в мире, делается по его воле; и в то же время человек может исполнять и не исполнять предписания божии и за их неисполнение подлежит ответственности. Учение о боге, таким образом, могло развиваться или в сторону учения о предопределении, или в сторону признания свободной человеческой воли. В Мекке Мухаммед (умер в 632 г. — *С. Д.*) не был ничьим повелителем; призывая людей к покаянию, вере и деятельной любви, он мог взывать только к их доброй воле; естественно, что в меккских сурах (главах священной книги «Коран» — *С. Д.*) учение об обязанностях и ответственности человека преобладает над учением о всемогуществе божием. После бегства в Медину Мухаммед сделался правителем сначала этого города и его области, потом — почти всей Аравии; люди должны были безпрекословно исполнять волю бога, передаваемую через его посланника; естественно было убеждать их, что этой волей все заранее обдумано и предрешено, так что сопротивляться ей бесполезно; даже в битвах человеку не угрожает никакая опасность, так как его смертный час заранее определен в книге судеб. Преемники Мухаммеда по тем же причинам имели основание поддерживать учение о предопределении, за которое одинаково стояли «праведные» халифы и омейяды» [1].

Учение о предопределении помогало правящим классам Востока господствовать над трудящимися массами, воспитываемыми духовенством в глубокой вере в незыблемость земных судеб, предопределенных каждому свыше. Лермонтов, при близком знакомстве с мусульманским Кавказом, не раз отмечал веру в судьбу как важную черту в мировоззрении и характере своих героев. Так, в «Турецкой сказке» — «Ашик-Кериб» есть эпизод: богач Куршуд-бек обманом женится на невесте бедняка Ашик-Кериба, но в самый разгар свадебного пира является Ашик-Кериб, и невеста бросается к нему в объятия. Брат Куршуд-бека кинулся на них с кинжалом, но Куршуд-бек остановил его, промолвив: «Успокойся и знай; что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

---

[1] Акад. Бартольд В. В., Ислам, П. 1918, стр. 68—69.

~~Листъ~~
Тетрадь III
(Фаталистъ.)

(+.) уже напечатано

мнѣ какъ-то разъ случилось прожить двѣ недѣли
въ казачьей станицѣ на лѣвомъ флангѣ;
тутъ же стоялъ батальонъ пѣхоты; офицеры
собирались другъ у друга поочередно: по вечерамъ
играли въ карты.

однажды наскучивъ бостономъ, и бросивъ карты подъ
столъ, мы засидѣлись у майора С очень долго; разговоръ
противъ обыкновенія былъ занимателенъ.
разсуждали о томъ что, мусульманское повѣрье, будто
судьба человѣка написана на небесахъ, находитъ и между
христіанами многихъ поклонниковъ; каждый
разсказывалъ разные необыкновенные случаи въ доказательство
~~pro~~ pro или contra.

все это господа ничего не доказываетъ сказалъ старый майоръ
ведь никто изъ васъ не былъ свидѣтелемъ тѣхъ странныхъ
случаевъ которыми вы ~~приводите~~ подтверждаете
свои мнѣнія...
конечно никто! сказали многіе, но мы слышали это отъ вѣрныхъ
людей.....
— все это вздоръ сказалъ кто-то: ~~гдѣ~~ гдѣ эти вѣрные
люди видѣвшіе списокъ на которомъ означенъ часъ
нашей смерти?.... ~~въ такомъ~~ если точно есть пред=
опредѣленіе, что зачѣмъ же намъ дана воля,
разсудокъ, — отчего мы должны давать отчетъ
въ нашихъ поступкахъ?...

— въ это время одинъ ~~изъ~~ офицеръ сидѣвшій въ
темномъ углу комнаты, всталъ, и медленно
подошедъ къ столу окинулъ всѣхъ насъ спокойнымъ
и торжественнымъ взглядомъ. онъ былъ
родомъ сербъ, какъ видно было изъ его имени.

Первая страница автографа „Фаталиста“.

В общей европейской и русской атмосфере уныния при торжестве реакции 1820—1830-х годов фаталистические настроения были приметны в жизни и литературе.

Фаталистические настроения были свойственны и самому Лермонтову, интересовавшемуся философией Востока: «Я многому научился у азиатов», говорил он А. А. Краевскому, «и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны»[1]. В стихотворном письме к В. А. Бахметевой (1840) он писал:

Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье —
Не все ль равно? Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все равно я благодарен,
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.

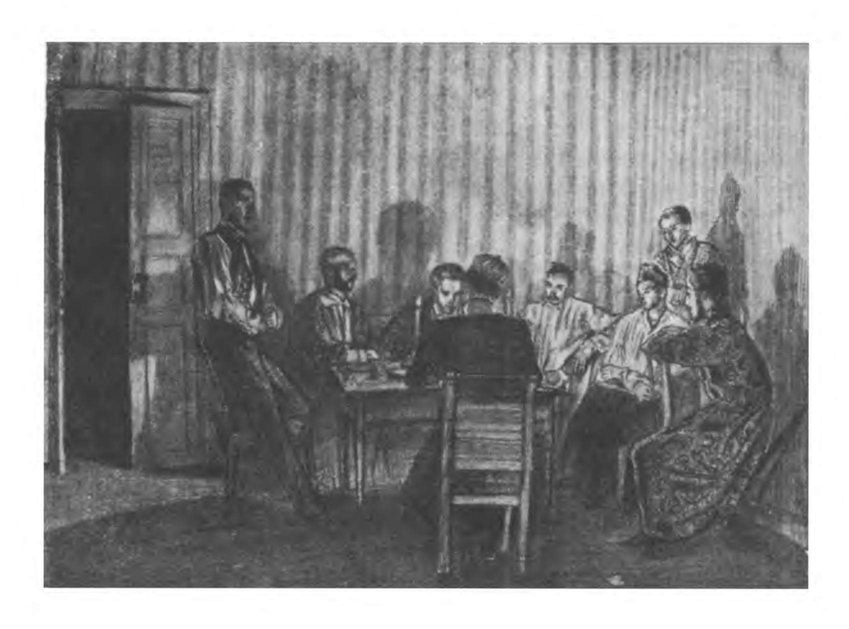
«Была только одна страсть, которой он не таил — страсть к игре».

Лермонтов в образе Вулича продолжает ту галерею страстных игроков, которую дали в своих произведениях писатели первой половины XIX в. и самыми яркими портретами в которой являются пушкинские образы Сильвио («Выстрел») и Германа («Пиковая дама») и лермонтовские Арбенин и Звездич («Маскарад») и Лугин («Отрывок из неоконченной повести»). Эта галерея, начиная от приподнято-романтического Арбенина и кончая строго-реальными Ихаревым и Утешительным («Игроки» Гоголя), полно и верно отразила те разномастные вереницы картежников, которые выставила жизнь командующих классов крепостной России в конце XVIII — в половине XIX вв. В глухом однообразии и праздном покое дворянского заповедника, наделенного «крещеною собственностью» и охраняемого сторожевым аппаратом самодержавия, карточная игра являлась своеобразным громоотводом, «отводившим» «бури тайные страстей» с небосклона общественности в низины игорного дома, поглощая огромное количество умственной и волевой энергии, которая могла бы иначе уйти совсем в другие сферы деятельности. Не выходя из пределов литературы, можно указать ряд биографий, где исключительная умственная и волевая энергия

---

[1] Висковатов П. А., М. Ю. Лермонтов, стр. 368.

разряжалась в острые волнения карточной игры, опустошая писателей и отравляя общественных деятелей. Таковы биографии И. А. Крылова, молодых П. А. Вяземского и А. С. Пушкина; таковы биографии талантливого Ф. И. Толстого (американца) и благородного друга Пушкина, П. В. Нащокина, из-за карточной игры бесплодно прошедших по ниве жизни. Карты и в 1840-х годах, в пору Лермонтова, оставались испытанным ядовитым средством самозабвенья от пытки холодного прозябания в казарменной гнили николаевской России; к ним прибегали Т. Н. Грановский, молодой Лев Толстой, Некрасов, Достоевский и мн. др. Как бы ни были романтичны образы пушкинского Германа и во многом похожего на него лермонтовского Вулича, этих мучеников и аскетов карточной игры, они верны исторической действительности: люди самых ярких индивидуальностей, — как тот же Толстой-американец, или даже гении, как сам Пушкин, — подобно этим безвестным офицерам, в картах искали те волнения борьбы и власти, которых лишала их жизнь. С другой стороны, для бедных дворян, для службистов поневоле, какими были Герман и Вулич, карточная игра была единственным средством возможного обогащения. Пушкин с особым вниманием останавливается поэтому на карточном приобретательстве Германа, на его расчетливой экономике, построенной на картах. Лермонтов посвятил целую драму этого рода «промышленникам колоды карт»: его Арбенин, Звездич, Казарин, не говоря уже о Шприхе («Маскарад»),—все разорившиеся или разоренные дворяне, пытающиеся восстановить свое состояние игрой. Лермонтов зорко проводит последовательность «успехов» на этом картежном «промысле»: Звездич еще только начинает первые опыты пока еще без всякого успеха; Казарин находится в колебании между удачей и неудачей; Арбенин уже закончил круг своих операций: он наиграл уже себе богатство и отбросил от себя карты, как фабрикант, сменявший фабрики на процентные бумаги. Эта «приобретательская» линия русского дворянства за карточным столом привела наиболее последовательных из его представителей к шулерству. У Лермонтова Арбенин еще задрапирован в трагическую мантию «человека рока», невольника своей судьбы, но Казарин дан уже в чисто грибоедовских тонах как шулер чистой воды. Гоголь до конца разоблачил эту линию картежных промышленников, показав шулеров-профессионалов с дворянским паспортом в «Игроках» и нарисовав шулера-помещика в образе Ноздрева в «Мертвых душах».



Группа в Кисловодске. Товарищи Лермонтова по полку.

(С рисунка Г. Г. Гагарина.)

В Вуличе Лермонтов дает зарисовку игрока, сделанную карандашом реалиста, в тонах и манере пушкинского «Выстрела» и «Пиковой дамы». В гордой замкнутости и в сознательном одиночестве Вулич не уступит Герману. Подобно Герману и Сильвио, он не из русских, хотя, как и они, он давно обрусел. Его характер, следствие его не только личных, но и племенных особенностей (он — серб), выделяет его из обычной офицерской среды, так же, как Германа и Сильвио. Общее у него с его товарищами-офицерами — только служба и игра. Как Пушкин своих Германа и Сильвио, Лермонтов рисует Вулича человеком, «отмеченным судьбой», но, в противоположность многоречивым роковым декламаторам Марлинского, наделяет его холодной молчаливостью. Слова ему нужны только при игре. Лермонтов не подчеркнул в нем свойственной Герману жажды обогащения как средства жизненной независимости, но он намекнул на строгую расчетливость Вулича, когда заставил его отвечать офицерам, попытавшимся помешать его опасному пари, предложением заплатить за него 20 червонцев.

Игра, прерванная нападением черкесов, была игра в *банк*. В ней Вулич был банкометом. Согласно правилам игры, банкомет ставил определенную сумму денег («метал» или «держал банк»). Другие игроки — «понтёры» — «понтировали», или шли против него. Каждый из понтёров объявлял свою сумму, которою он «отвечает»: она могла быть меньше суммы, объявленной банкометом, или равна ей. В случае Вулича — она равнялась всей сумме банкомета: «ва-банк!» — стало быть игра достигла предела напряжения и денежного интереса. Поэтому банкомет Вулич, как страстный игрок, непременно хотел «докинуть талью», т. е. довести до конца промёт колоды, пока не объявится карта, объявленная его противником-понтёром, т. е. семерка. Только когда семерка, наконец, была «дана» и тем обозначился выигрыш понтёра, проигравший Вулич оторвался от карт и явился в цепь, где, находясь под пулями, разыскал счастливого противника и сообщил ему о его выигрыше. В самозабвении игрока Вулич нарушил дисциплину офицера: черта, нужная Лермонтову для показа силы страсти, владевшей Вуличем.

> «...Но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета».

После этого следовало в черновой рукописи: «Как бы то ни было, посредничество судьбы в этом деле все-таки оставалось неоспоримо». Лермонтов исключил эту фразу как содержащую положительное утверждение справедливости веры в предопределение.

> «...Звезды спокойно сияли на темноголубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права».

«Едва ли не первый из русских поэтов, Лермонтов открыл и прочувствовал высокую поэзию звездного неба; начиная с первых юношеских опытов, он вдохновлялся его зрелищем, почерпал в его созерцании мотивы и образы для своего творчества» [1]. В лирике Лермонтова, как и в признаниях

---

[1] Саводник В., Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева, М. 1911, стр. 234.

Печорина в «Фаталисте», звучит мотив разобщенности человека и неба.

Чем ты несчастлив,
Скажут мне люди? —
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо —
— Звезды и небо! — а я человек!

(«Небо и звезды», 1831.)

«Люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие» в делах человеческих, — *астрологи,* занимавшиеся в древности и в средние века астрологией, мнимой наукой предсказания земных событий по взаимному положению небесных тел. Вера в астрологические предсказания была так сильна, что еще в XVIII в. астрономам приходилось составлять для высоких особ гороскопы, т. е. подробные астрологические биографии, будто бы вычитанные из наблюдения над сочетанием звезд в час рождения данного лица. Печорин готов завидовать этому европейскому фатализму по одной причине: люди, верившие в участие неба в земных делах, были, будто бы, сильнее современных людей, дрожащих за свою жизнь.

«Побойся бога! ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!»

Ср. дальше слова Максима Максимыча: «Впрочем, уж так у него на роду было написано». Есаул и Максим Максимыч выражают русское народное отношение к вопросу, волнующему Печорина и его компанию, пословицами: «От судьбы не уйдешь», «от роду не в воду», «судьба руки свяжет», «детинка не без судьбинки» [1].

«В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу. «Погодите», сказал я майору, «я его возьму живого».

Для Печорина «испытание судьбы» есть испытание своей воли и силы: если под выстрелом Грушницкого он стоял

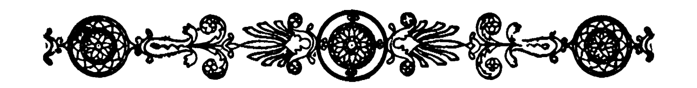
---

[1] Даль В. И., Толковый словарь живого великорусского языка, т. III, изд. 4-е, стр. 1702, т. IV, стр. 622.

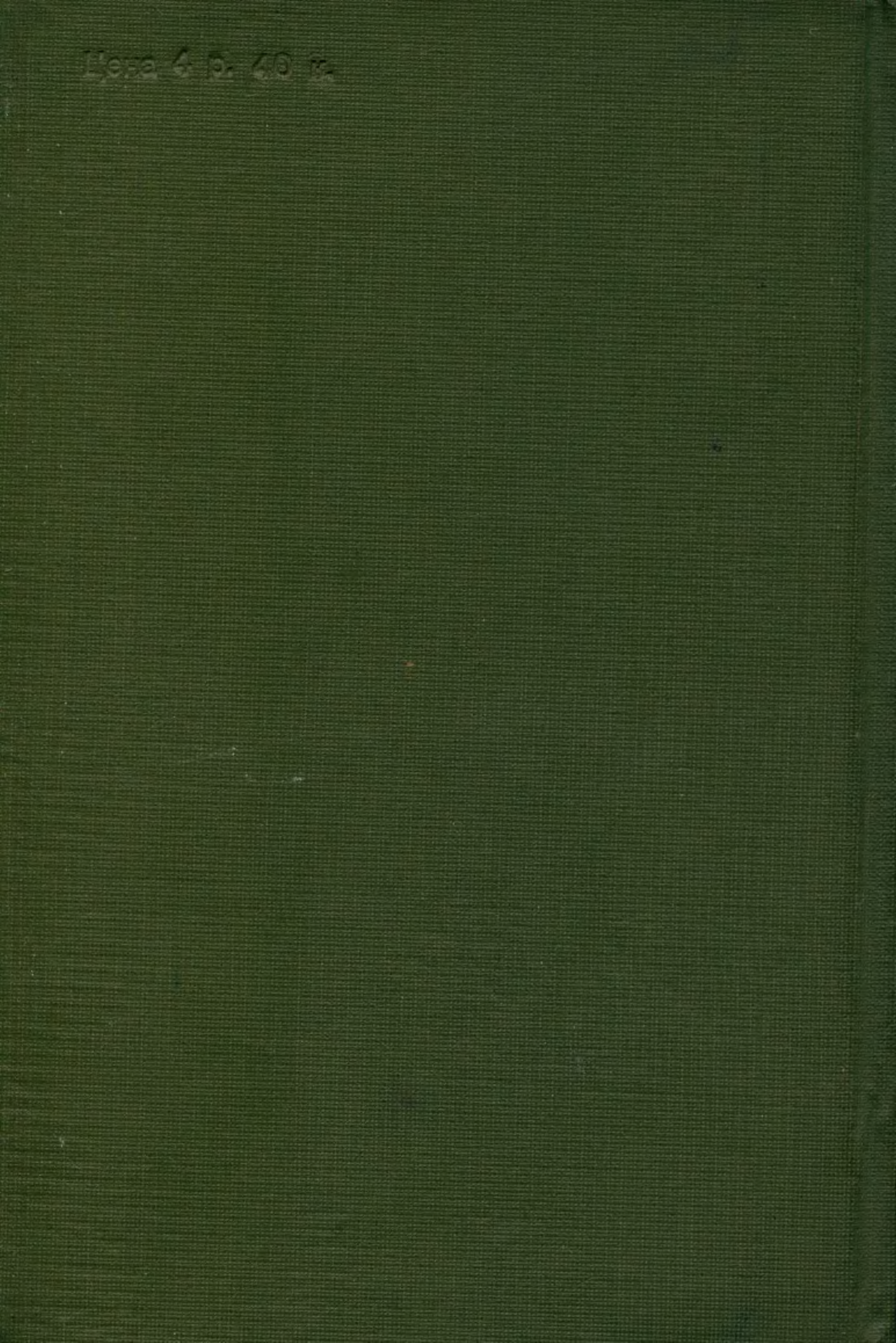
безоружный, вызывая в нем голос совести и чести, то, вызвавшись безоружный же «взять живым» пьяного вооруженного казака, Печорин сознательно ставит себя на место Вулича, только что подвергавшего себя смертельной опасности ради пари с Печориным, — пари, из-за которого Печорина обвиняли в эгоизме. Поменявшись ролями с убитым Вуличем, Печорин хотел доказать, что дело тут было не в эгоизме, а в свободе создавать свою судьбу, играя со смертью. Чаадаев верно изъяснил эту черту в людях социально-близких Печорину: «Равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи» [1].

[1] П. Я. Чаадаев, Сочинения, т. II, стр. 115.





ОГЛАВЛЕНИЕ.


Цена 4 р. 40 к.